

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ М. В. ЛОМОНОСОВА

Филологический факультет

**СИНХРОННОЕ И ДИАХРОННОЕ
В
СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОМ
ЯЗЫКОЗНАНИИ**

*Материалы VII Международной научной конференции
по сравнительно-историческому языкознанию
(Москва, 31 января – 2 февраля 2011 г.)*

Под общей редакцией В.А. Кочергиной

«studia academica»

ДОБРОСВЕТ
Издательство «КДУ»
Москва
2011

УДК 801
ББК 81
К75

*Печатается по постановлению Редакционно-издательского совета
филологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова*

Рецензенты:

д.ф.н., проф. А. А. Волков к.ф.н. доцент Е. А. Брызгунова

Редакционная коллегия:

В. А. Кочергина (главный редактор), И. И. Богатырева,
О. А. Волошина, В. К. Казарян

К75 Синхронное и диахронное в сравнительно-
историческом языкознании — М.: «Добросвет», «Изда-
тельство „КДУ“», 2011. — 268 с.

ISBN 978-5-98227-791-6

В сборник включены статьи, представляющие собой материалы VII Международной научной конференции по сравнительно-историческому языкознанию «Синхронное и диахронное в сравнительно-историческом языкознании», проводимой кафедрой общего и сравнительно-исторического языкознания филологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова (Москва, 31 января — 2 февраля 2011). Сборник предназначен для компаративистов, а также для специалистов в различных областях языкознания.

ББК 81

ISBN 978-5-98227-791-6

© Авторы, 2011.

© «Добросвет», 2011.

Содержание

Предисловие	5
<i>А.А. Акаш (Москва).</i> Взаимодействие языка и культуры при преподавании иностранного языка	7
<i>С.М. Альотамби (Москва).</i> Язык и культура в проблематике современного машинного перевода	10
<i>К.В. Бабаев (Москва).</i> Макросемья языков Африки: современное состояние сравнительно-исторических исследований и генетической классификации	14
<i>В. В. Байда (Москва).</i> Аналитические предикаты в ирландском языке	16
<i>А. М. Белов (Москва).</i> Проблемы моря в индоевропейских корнях с «тяжелыми базами»	17
<i>И.И. Богатырева (Москва).</i> Санскрит как воплощение ключевых идей древнеиндийской культурной традиции	29
<i>В. В. Борисенко (Белград).</i> Палатализация как движущая сила преобразований греческой фонологической системы: два синхронных среза: древнегреческий и новогреческий язык	35
<i>О.А. Волошина (Москва).</i> Принципы вторичной номинации (на примере лексики санскрита)	36
<i>О.А. Волошина (Москва).</i> Концептуальная метафора Ф. де Соссюра и смена научной парадигмы	43
<i>Н. А. Гончарова (Минск).</i> История кроется в словах: к вопросу об инскрипциях	48
<i>Н. И. Данилина (Саратов).</i> Ранний этап эволюции морфонологических систем	54
<i>Д. В. Димитриев (Москва).</i> Дезидеративные глаголы в ведийском и санскритском языках	59
<i>Л.П. Дронова (Томск).</i> Когнитивные исследования и проблемы исторической реконструкции языка	62
<i>А.В. Дыбо (Москва).</i> К проблемам огузской морфонологии: процессы конца слова и генетическая классификация	65
<i>В.А. Дыбо (Москва).</i> Балтославянская акцентология и германская геминация согласных. (В защиту теории Ф. Клуге)	75
<i>А.А. Евдокимова. (Москва).</i> Византийские диалекты: история возникновения и бытования	89
<i>С.К. Иманбердиева (Алма-Ата).</i> Теонимы (на материале пословиц и поговорок, фразеологизмов русского и казахского языков)	92
<i>М.А. Живлов (Москва).</i> Лексические инновации и классификация уральских языков	96
<i>Н.Ю. Живлова (Москва).</i> Древнеирландское <i>aire échta</i>	97
<i>Н.М. Йова (Москва).</i> Развитие системы лексических способов выражения высокой степени признака в греческом языке	98
<i>Г.А. Казаков (Москва).</i> Слова сакрального значения в синхронном и диахронном рассмотрении	103
<i>Н.Н. Казанский (Санкт-Петербург).</i> О реконструкции праиндоевропейских глагольных категорий	108
<i>А.Н. Качалкин (Москва).</i> Роль синхронии и диахронии в анализе названий русских документов	111
<i>Е.В. Кашкина (Воронеж).</i> О названии берберского племени «Кабилы»	116
<i>А. С. Китаев (Москва).</i> Критерии генеалогической классификации тюркских языков	119
<i>П.А. Кочаров (Санкт-Петербург).</i> Следы индоевропейских гетероклитических основ на *-wet/p- в древнеармянском языке	126
<i>К.Г. Красухин (Москва).</i> Становление аспектно-временной и модусной системы в праиндоевропейском	129
<i>С.Н. Кузнецов (Москва).</i> Библийские прототипы в языковедческих и лингвополитических концепциях	132

<i>В.С. Кулешов (Санкт-Петербург).</i> Эстонско-ливские акцентные соответствия и метатония а-основ в истории ливского языка	141
<i>Л.Т. Леушина (Томск).</i> Реконструкция адъективов на -и- в латинском языке	145
<i>Н.К. Малинаускене (Москва).</i> Гомеровское прилагательное φαεινός: этимология и употребление	150
<i>Ю.Н. Марчук (Москва).</i> Синхронное взаимодействие языков и культур в переводе Ranko Matasović (Zagreb). Winter's law and the loss of stops before obstruents in Proto-Slavic	153
<i>Т.А. Михайлова (Москва).</i> Др.-ирл. céile в контексте диахронических семантических сдвигов	154
<i>И.А. Невская (Франкфурт).</i> Депиктивные второстепенные предикаты в тюркских языках	165
<i>И.В. Новицкая (Томск).</i> Комплексный анализ готских абстрактных существительных в системе именного склонения	171
<i>Е.А. Парина (Москва).</i> Качественные признаки 'полный' и 'пустой' в валлийском языке	176
<i>В.В. Поддубный (Томск), А.А. Поликарпов (Москва).</i> Вывод закона синхронного полисемического распределения языковых знаков на основе диссипативной стохастической динамической модели эволюции знаковых ансамблей	180
<i>О.В. Попова (Москва).</i> Особенности почерка хеттского писца Ханикуили (13 в. до н.э.)	182
<i>A.M. Ramer. LIV^{Free} (a series of Likely Ignorable Variations on indo-european themes) By Jude Krakauer and friends</i>	191
<i>В.В. Ребрик (Санкт-Петербург).</i> К проблеме сопоставления шумерского и картвельских языков	194
<i>И.В. Садыкова (Томск).</i> Греческие истоки некоторых русских цветообозначений (к проблеме заимствования)	196
<i>О.М. Сергеева (Москва).</i> Проблема «подвижных» согласных в начале индоевропейского слова	198
<i>А.В. Сидельцев (Москва).</i> Местоименная реприза в хеттском: факт или фикция?	203
<i>М.Н. Славянская (Москва).</i> Императивная языковая норма в древнегреческом языке (история и смысл)	207
<i>В. Станишич (Белград).</i> О месте идеографии в типологии письма	216
<i>М.А. Таривердиева (Москва).</i> Языковая ситуация в древнем Риме и латинский словарь (диахрония ретроспектива)	229
<i>А.А. Трофимов (Москва).</i> Проблема s-mobile в индоевропейских языках и ее возможное фонетическое объяснение	232
<i>А.А. Умняшкин (Баку).</i> Сравнительно-исторический анализ бытовой лексики иранских языков Южного Кавказа	236
<i>Х.И. Уста (Анкара).</i> Значение диахронических и ареальных сопоставлений при изучении языка канонизированных текстов	242
<i>А.И. Фалилеев (Санкт-Петербург).</i> Гидроним Vindupalis в контексте истории языков Западного Средиземноморья	250
<i>К.В. Харитонов (Москва).</i> Винительный и дательный падежи в позиции адресата при глаголах речи	254
<i>О.В. Царегородцева (Томск).</i> Реализация семантического перехода 'светить' → 'темнеть' в древнегреческом и русском языках	262
<i>А.В. Шацков (Санкт-Петербург).</i> Страдательный залог в древних индоевропейских языках	266
<i>Ю.В. Щека (Москва).</i> Источник языковых изменений и критика лингвистической теории эмоций	271
<i>И.С. Якубович (Москва).</i> When Hittite Laryngeals are Secondary	274

Предисловие

Сборник «Синхронное и диахронное в сравнительно-историческом языкознании» содержит материалы одноименной конференции проводимой с 31 января по 2 февраля 2011 г. и приуроченной к столетию со времени утверждения в лингвистике идей синхронного и диахронного анализа, сформулированных Ф. де Соссюром в 1911 г.

В отличие от предыдущих конференций, было решено издать сборник не после окончания, а к началу конференции. В сборнике представлены как расширенные варианты, так и тезисы докладов. Такое совмещение разных типов материалов конференции нами практикуется впервые. Надеемся, в дальнейшем удастся публиковать полноценные материалы к началу конференции.

Тематика конференции предопределила направленность представленных докладов. Большая группа докладов относится к индоевропейскому языкознанию. В нескольких секциях перераспределены выступления участников по разным темам и индоевропейским языковым группам. Несколько статей посвящены проблемам индоевропеистики в области системы глагола. Доклад академика Н.Н. Казанского посвящен реконструкции праиндоевропейских глагольных категорий и восстановлению семантической характеристики глагольных форм, что очень актуально на современном этапе развития индоевропеистики. К.Г. Красухин излагает проблематику аспектно-временной и модусной системы в праиндоевропейском глаголе и рассматривает разные подходы к данному вопросу. Доклады А.В. Шацкова, А.В. Сидельцева, В.В. Байда, Л.Т. Леушиной, и К.В. Харитоновой затрагивают различные аспекты сравнительно-исторической морфологии. А.В. Шацков, анализируя систему залога индоевропейских языков, констатирует тот факт, что праязыку было свойственно противопоставление активного и медиального залогов. А.В. Сидельцев рассматривает местоименные репризы в хеттском языке с точки зрения типологии. Л.Т. Леушина предлагает реконструкцию латинских прилагательных на -и-.

Разным аспектам индоевропейской акцентологии и фонетики посвящены статьи В.А. Дыбо, Р. Матасовича, И.С. Якубовича, А.М. Белова, О.М. Сергеевой, А.А. Трофимова. Член-корреспондент РАН В.А. Дыбо продолжает свои исследования в сложной области сравнительно-исторической акцентологии балто-славянских и германских языков. Р. Матасович предлагает провести ревизию в законе Уинтера и

переформулирует его так: «Balto-Slavic vowels were lengthened before PIE voiced stops in closed syllables, but not in open syllables» (Балто-славянские гласные удлинены перед индоевропейскими звонкими смычными, в закрытых слогах, но не в открытых»). Как докладчик утверждает некоторые ученые принимают его нововведение, а другие, как например В.А. Дыбо, Ф. Кортландт и др. остаются приверженцами первоначальной формулировки закона. И.С. Якубович обращается к проблемам отражения ларингалов в хеттском языке. Он, проанализировав хеттские слова, в которых *ḫ* предшествует гласному *u* рассматривает случаи пропуска *ḫ* в лувийских текстах и выделяет вторичные формы с *ḫ* среди первичных доисторических форм с ларингалом. О.М. Сергеева и А.А. Трофимов рассматривают запутанную проблему *s mobile* в индоевропейских языках.

В сборнике представлены и доклады по классическим языкам. М.Н. Славянская в докладе «Императивная языковая норма в древнегреческом языке» рассматривает социолингвистические аспекты древнегреческого языка. Н.К. Малинау-скене рассматривает этимологию прилагательного φαεινός «светлый», φάος «свет» в гомеровских текстах. В статье О.В. Царегородцевой исследуется семантический переход светить – темнеть в древнегреческом и русском языках. Статьи В.В. Борисенко и Н.М. Йовой посвящены другим аспектам древнегреческой лингвистики.

Примечательно, что в сборник вошли также доклады по тюркским языкам. Член-корреспондент РАН А.В. Дыбо на основе фонетического анализа пратюркского и общеогузского консонантизма предлагает свою схему классификации огузских языков. А.С. Китаев также обращается к вопросам классификации тюркских языков. Профессор Анкаринского университета Х.И. Уста рассматривает разные варианты перевода канонизированных текстов на турецком языке. В докладе С.К. Иманбердиевой сопоставляются теонимы в пословицах и поговорках казахского и русского языков.

Следует подчеркнуть актуальность этой конференции в научном и культурологическом аспектах. Тематика конференции находится в научном поле трудных проблем, требующих трудоемких исследований и широких познаний в самых различных областях сравнительно-исторического языкознания.

В. Казарян

Взаимодействие языка и культуры при преподавании иностранного языка

А. АКАШ (МОСКВА)

Неразрывная взаимосвязь языка и культуры стала объектом изучения еще с начала Нового времени. Ее анализировали Д. Вико, И. Гердер, В. фон Гумбольдт и другие ученые. В середине XX в. изучение данного отношения было в центре внимания многих ученых, как российских, так и зарубежных, в результате чего наметились некоторые подходы к изучению этого многоаспектного отношения. Первый подход, разработанный рядом российских культурологов, таких, как С.А. Артановский, Г.А. Брутян, Е.И. Кукушкина, основан на положении о том, что взаимосвязь языка и культуры сводится к движению в одну сторону. Это означает, что если язык отражает действительность, а культура есть естественный компонент этой действительности, то язык оказывается простым отражением культуры. В случае возникновения каких-либо изменений в действительности это отразится в культуре, а затем в языке. При изучении иностранного языка и культуры у учащегося возникает совершенно новая языковая и культурная картина мира, отличающаяся от его родной картины мира. Под влиянием новой картины мира человек начинает по-другому видеть мир, у него возникает новое представление о некоторых предметах и явлениях реальности, отличающееся от его первичного представления о тех же самых предметах в родной картине мира. Изучая тот или иной язык, студент более успешно и быстро осваивает язык, нежели культуру, к которой относится данный язык. Здесь встает вопрос: почему языковой барьер преодолевается легче, чем культурный? Вот, что пишет по этому поводу С.Н. Тер-Минасова « чем же барьер культур труднее, «хуже» барьера языков? В отличие от языкового, он невидим и не осязаем. Столкновение с другими, чужими

культурами всегда неожиданно. Родная культура воспринимается как данное, как дыхание, как единственная возможность видеть мир вокруг себя, жить по определенным, родным правилам, в соответствии с общепринятыми нормами, традициями, привычками. Осознание своей культуры как одной из многих, отдельной, особенной, приходит только при столкновении (знакомстве, взаимодействии) с иной культурой, особенно той, которая живет в *иных странах*, то есть иностранной»¹. Картина мира имеет своим источником культурные ценности, традиции и обычаи, а в некоторых случаях и религиозный компонент, и находит свое отражение в языке – в его лексическом составе, грамматическом строе языка, синтаксическом строении предложения, фразеологических оборотах, метафорических выражениях и многое другое. Поскольку вышеназванные составляющие у народов мира разные, постольку расхождения проявляются в разных языковых аспектах «Гумбольдт не отрицает того, что некоторое число различных слов можно «привести к общему знаменателю», но в подавляющем большинстве случаев это невозможно: индивидуальность разных языков проявляется во всем – от алфавита до представлений о мире; огромное число понятий и грамматических особенностей одного языка зачастую не может быть сохранено при переводе на другой язык без их преобразования»². Проиллюстрируем некоторые расхождения в метафорических сравнительных оборотах в русской и арабской культурах. Так, если в русской культуре *бык* символизирует силу, то это животное употребляется в арабской культуре для обозначения глупости. Другой интересный пример с *орлом*, который символизирует почти во всех культурах положительные качества: силу, величие, храбрость,

¹ Тер-Минасова С.Г. Война и мир языков и культур. М, 2008. С.49.

² Богатырева И. Что такое картина мира. Журнал «Русский язык и литература для школьников». 2009. №8.

у китайцев и арабов обозначает еще острое зрение. Однако при переводе значения этой птицы на арабский язык допускаются многие ошибки, причиной которых является то, что некоторые переводчики путают *орла*, символизирующего вышеуказанные качества, со *стервятником*, который является как в арабской культуре, так и в других традициях низшим существом, питающимся падалью. Наблюдается и противоположное явление, а именно когда для выражения одного и того же референта в обоих языках используются разные слова, например, в арабской культуре девушку со стройным станом уподобляют газели, в то время как такая же девушка в русской культуре уподобляется березе. Такие примеры, показывающие различные отношения представителей разных языков и культур к тем или иным предметам и явлениями жизни, можно легко умножить.

Таким образом, учет связи языковых единиц с культурообразующими факторами является ключевым моментом как в переводческой деятельности, так и в преподавании иностранного языка.

Литература

1. Богатырева И. Что такое картина мира. Журнал «Русский язык и литература для школьников». 2009. №8.
2. Тер-Минасова С.Г. Война и мир языков и культур. М.: Слово / Slovo. 2008.

Язык и культура в проблематике современного машинного перевода

С. М. АЛЬОТАМБИ (МОСКВА)

Перевод обслуживает непосредственные потребности общения между народами, что представляет особое культурное значение. Через слова и предложения каждый народ выражает свое представление о реальности, добивается научных достижений и развивает культуру. В каждой из этих областей мы видим лишь то, что может выразить наш язык. И поскольку некоторые слова, названия животных, например, в определенных контекстах выражают другие семантические аспекты, то системы машинного перевода в своем нынешнем состоянии зачастую попадают в серьезные языковые «ловушки». Например, в арабском и русском обществах слова *медведь*, *осел*, *волк*, *лиса* и *обезьяна* выражают в определенных контекстах дополнительные семантические значения с характеристической оценкой. Так слово «медведь» у арабов выражает отсутствие опыта, «осел» – отсутствие чувств, «волк» – предательство, «лиса» – хитрость, «обезьяна» – пренебрежение¹. Еще можно привести в качестве примера слово «*сова*»: эта птица у арабов является символом неудачи, а у англичан и ряда других народов – мудрости².

Опыт, который формировался под влиянием культурных ценностей и традиций определенных исторических эпох, находит свое отражение,

¹ Arabic Translation and Intercultural Dialogue Association – <http://www.atida.org/makal.php?id=194>.

² جهاد الأحمدية, الإضافة والحذف في الترجمة بين العربية والإنجليزية, دراسة, اتحاد كتاب العرب, دمشق 187 ص, 2008.

прежде всего, в языке – в его словах и формах¹. В разных естественных языках картины внешнего мира достаточно различны. Поэтому, известный голландский языковед Э. М. Уленбек пишет: «... Знание языка-источника и переводящего языка недостаточно. Переводчику также необходимо знать культуру народов, говорящих на данных языках»².

Следует отметить, что проблема перевода культурных знаний возникает не только при переводе народных пословиц и метафорических значений, но и фразеологизмов. Например, арабский фразеологизм *رجع بخفي حنين* (бук. перевод: вернулся с ботинками Хунайн) выражает убыток и разочарование человека в том, что ему не удалось добиться своей цели. Данный фразеологизм связан с известной в арабской культуре историей.³ В русском же языке для выражения такого значения употребляется другая конструкция: *вернуться с пустыми руками*. Без знаний предыстории этого выражения даже хорошо владеющий арабским языком человек-переводчик неизбежно попадет в затруднительную ситуацию. Поэтому, безотносительно к задаче перевода, например, в системах универсальных смысловых множителей нужно учитывать составляющие языковой картины мира⁴.

Следует также обратить внимание на те моменты, когда в исходном тексте встречается слово или словосочетание, для которого не существует эквивалента в культуре носителей языка перевода. В таких прикладных задачах, как перевод, данная проблема известна как «непереводимость – untranslatability». Например для араб. слова *زكاة* [закят] не существует эквивалента в других иностранных культурах, что представляет серьезную

¹ Богатырева И. И. Что такое картина мира // Русский язык и литература для школьников. – М., №8-2009. Стр. 4.

² “Lingua”, v. 18, № 2 (1967), pp. 201-202.

³ *ابن قتيبة الدينوري. المعارف. الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، 2003. ص 271*

⁴ Марчук Ю. Н. Компьютерная лингвистика. М., Восток-Запад, 2007. Стр. 131-132.

лента в других иностранных культурах, что представляет серьезную трудность для переводчика¹.

Исходя из вышесказанного, становится абсолютно ясно, что учет культурных фоновых знаний необходим для любого качественного перевода. К сожалению, современные системы машинного перевода пока не могут учитывать эти важные моменты при переводе текстов. Представляется, что для того, чтобы реализовать правильную передачу той или иной культурной информации, а также учесть устоявшиеся исторические, культурные, религиозные и другие национальные фразеологизмы, в машинном переводе необходимо установить базу данных с достаточно большим объемом культурной информации. Для этого, как нам кажется, может быть использована статистическая методика перевода с использованием методов корпусной лингвистики. В нашей дальнейшей работе мы попытаемся показать, какие конкретные методы корпусной лингвистики могут быть использованы для эквивалентной передачи описанных выше культурных различий при машинном переводе текстов, содержащих такие различия. При этом мы будем обращать особое внимание на характеристики конкретных подязыков (стилей, жанров и т.п.), которые могут быть подвергнуты машинному переводу с достаточно высокой вероятностью получения приемлемых результатов, или, во всяком случае, постредактирование которых может быть осуществлено с приемлемой затратой труда человека-редактора.

¹ Закят – обязательный годовой налог в пользу бедных, нуждающихся. Закят – один из пяти столпов ислама. В теме закята важно знать и разделять два понятия: «закят» и «садака». Закят – это обязательная милостыня, которую мусульмане выплачивают раз в году при определённых условиях. Садака – это добровольная милостыня, которую человек выплачивает по собственному усмотрению и желанию.

Литература

1. Бархударов Л. С. Язык и перевод: Вопросы общей и частной теории перевода. Изд. 2-е. – М., 2008. – 240 с.
2. Богатырева И. И. Что такое картина мира // Русский язык и литература для школьников. – М., №8-2009. С. 3-8.
3. Марчук Ю. Н. Компьютерная лингвистика. М., Восток-Запад, 2007.– 317 с.
4. Arabic Translation and Intercultural Dialogue Association – <http://www.atida.org/makal.php?id=194>.
5. “Lingua”, v. 18, № 2 (1967), pp. 201-202.
6. *ابن قتيبة الدينوري. المعارف. الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، 2003*
7. *جهاد الأحمدية، الإضافة والحذف في الترجمة بين العربية والإنجليزية، دراسة، اتحاد كتاب العرب، دمشق 2008.*

Макросемьи языков Африки: современное состояние сравнительно-исторических исследований и генетической классификации

К.В. БАБАЕВ (МОСКВА)

Вслед за фундаментальной работой Дж. Гринберга, вышедшей в 1963 г. и предложившей классификацию языков африканского континента на четыре макросемьи, сравнительно-исторические исследования в Африке опираются в основном на сформулированные им подходы. Внутренняя классификация несколько раз существенно уточнялась – в основном перераспределялся состав семей, входящих в состав макросемьи нигер-конго (или нигеро-кордофанскую), – но оспорить теорию Гринберга до последнего времени практически никто не пытался.

Между тем тезис Гринберга основан не более чем на его методе т.н. «массового сравнения» единиц лексики и может рассматриваться исключительно как рабочая гипотеза. До сих пор не существует разработанной системы фонетических соответствий, реконструкции фонологической или морфологической системы праязыков макросемей, предложенных Гринбергом, состава праязыковой лексики, реконструированной с помощью строгого сравнительно-исторического метода. Имеющиеся реконструкции праязыков некоторых семей основаны во многом на типологических сходствах, нежели на сравнительно-историческом подходе. Пожалуй, из четырёх макросемей Африки лишь афразийская (семито-хамитская) макросемья на сегодняшний день может считаться основательно подтверждённой. Существенное продвижение можно отметить в сравнительном исследовании койсанских языков.

В то же время генетическая классификация языков нигеро-конголезской и нило-сахарской макросемей в последние годы становится предметом серьёзных дискуссий среди африканистов. Предлагаются под-

ходы к их классификации, существенно меняющие взгляды Дж. Гринберга и его последователей. В частности, возникает всё больше последователей точки зрения об обособленности атлантической семьи и семьи манде от нигеро-конголезских языков. Существует гипотеза об изолированном генетическом статусе языков догон, научное описание которых в последнее десятилетие привело к коренному изменению взглядов на эту семью языков. До последнего времени оставались практически неописанными кордофанские языки: работы ряда немецких исследователей в последние годы поставили вопрос о позиции семьи в составе языков нигер-конго. В частности, обнаружались многочисленные морфосинтаксические и лексические сходства между кордофанскими языками и языками банту, расположенными фактически на полюсах области, занятой нигеро-конголезскими языками.

Выдвинута, кроме того, гипотеза о существовании генетического родства между нигеро-конголезскими и нило-сахарскими языками.

При этом необходимо обратить внимание на методы работы по генетической классификации и определению языкового родства языков Африки. Недостаток качественно записанного синхронного языкового материала и большое количество языков естественным образом затрудняют работу компаративистов по выявлению регулярных фонетических соответствий. Использование же иных методов, включая лексикостатистику, глоттохронологию, типологический анализ, резко снижает точность результатов анализа.

О методах, подходах и последних научных достижениях в сфере африканского сравнительного языкознания, а также о проблемах, которые стоят перед компаративистикой в Африке южнее Сахары, планируется рассказать в докладе.

Аналитические предикаты в ирландском языке

В. В. БАЙДА (МОСКВА)

Аналитические (или описательные) предикаты являются одной из наиболее заметных типологических особенностей ирландского языка. В самом общем виде они представляют собой сочетание неполнозначного глагола с именем (существительным или так называемым глагольным именем). Отличительная особенность ирландских аналитических предикатов заключается не только в богатстве моделей их образования и широкой представленности в дискурсе, но и в том, что большое их количество не имеет соотнесенного с ними симплекса – простого глагола, выражающего тот же предикат. Исторически сильные позиции аналитических предикатов в языке связано с разрушением старой деривационной системы, построенной, в первую очередь, на префиксации. Классификация ирландских аналитических предикатов дает представление о положении этих структур в системе.

Проблемы моры в индоевропейских корнях с «тяжелыми базами»

А. М. БЕЛОВ (МОСКВА)

Проблема индоевропейского вокализма и связанного с ним аблаутного чередования была и остаётся центральной в индоевропеистике со времён выхода великой работы де Соссюра (de Saussure 1879) и по сей день.

Проблема эта, как широко известно, заключается в том числе в установлении первоначального числа (пра)индоевропейских гласных фонем и в решении вопроса о том, как в индоевропейском праязыке возникла категория долготы гласного или слога. В современной науке – особенно западной – этот вопрос теснейшим образом связан с гипотезой о «ларингалах», существующей в большом числе разновидностей: от признания одного «ларингала» (например, фонемы [h], шва и 5(10) гласных у (Семереньи 1980, с. 153)) и более распространённых версий о трёх или четырёх согласных фонемам до шести (у Пухвела и Линдемана) и даже более¹ При этом в более «классическом» варианте ларингальная гипотеза исходит из весьма строгистического постулата о древнем моновокализме (т.е. отсутствии в праязыке каких-либо других гласных, кроме исконно чередовавшихся е/о), тогда как многие современные авторы вполне либерально допускают сосуществование ларингалов уже с пятью гласными фонемами и даже долготами неларингального происхождения.

С другой стороны, у нас есть все основания полагать, что индоевропейский праязык – по крайней мере, в позднейшем своём состоянии – был языком моросчитающим и оппозиция долготы/краткости слогов в нём описывалась в категориях моры; соответственно, слоги этого языка

¹ Подробности см., например, (Meyer-Brügger 2002, S. 107).

могли быть одноморными, а могли быть и многоморными¹. Необходимость признания мор для праязыка видится вполне естественной из действия в нём закона Зиверса-Эджертона (Герасимов 2009), из законов компенсаторного удлинения (Носк 1986), свойственных самым разным и.-е. языкам, из возможности существования в нём «контурных тонов» (Герценберг 1981), из некоторых особенностей его ритмических законов (Мейе 1938, сс. 164-165). Моросчитающий характер и.-е. праязыка подтверждается и результатами моих исследований. Всё это заставляет думать, что не рассмотреть вопрос о возможной связи моры и ларингала было бы несправедливо, тогда как формулировка некоторых идей, требующих дальнейшего развития на индоевропейском материале, кажется весьма целесообразной.

Наиболее значительная попытка просодического объяснения ларингальности принадлежит, как известно, проф. Л. Г. Герценбергу (1978, 1981); при этом весьма важными представляются его слова о том, что просодическое объяснение ларингальности не находится в сильном противопоставлении с привычным признанием сегментного характера ларингалов, «если учитывать напоминание Бенвениста о том, что «ларингалы», в сущности, являются лишь «алгебраическими» единицами (Герценберг 1978, с. 38). Л. Г. Герценберг полагал, что принципы организации фонологической системы, имеющиеся в индоевропейских языках, суть реликты более древней праиндоевропейской системы слоговых акцентов, наподобие представленной в во вьетмыонгском языке тхавунг.

Идею проф. Герценберга поддержал и проф. В. Б. Касевич (1983, сс. 135-136), высказавшийся в пользу того, что индоевропейские языки мож-

¹ Здесь и далее мора понимается так же, как и в (Белов 2008, Белов 2009), где, в частности, формулируются и основные законы фонологической кратности слога.

но рассматривать как потомки языка слогового строя, отличительными чертами которого служат два признака:

- 1) длина экспонента морфемы должна быть не менее, чем один слог;
- 2) языки такого рода имеют запрет на ресиллабацию, т. е. последний согласный морфемы не может ни при каких условиях оказаться первым согласным слога и наоборот.

Глубина мысли Э. Бенвениста и Л. Г. Герценберга об алгебраичности «ларингальных» становится ещё более понятной теперь, когда в свете работ В. Б. Касевича мы понимаем, что в древнейшем состоянии (для которого, главным образом, и постулируются ларингалы) в (пра)индоевропейском языке, как и во всяком языке слогового строя, вероятно, не было фонем. Это не только примиряет два сильно противоположных подхода к ларингальной проблеме («сегментный» и «просодический»), но и позволяет искать новые принципы и методы анализа индоевропейского материала. В частности, признавая вслед за проф. Касевичем тот факт, что для языков слогового строя совершенно типично наличие системы тонов (Касевич 1983, с. 178), которые в свою очередь естественнее всего описываются как раз в терминах моры (Трубецкой 2000/1960, с. 212), мы видим ещё большую необходимость взглянуть на ларингальную проблему с этого, весьма нетрадиционного, угла зрения.

Рассмотрим лишь один аспект этой грандиозной проблемы – случаи индоевропейского чередования корней, традиционно относимых к подклассу «двусложных (тяжёлых) баз», – объяснение которых, однако, «сторонники ларингальной гипотезы считают важным доводом её достоверности» (Герценберг 1981, с. 66). В таблице 1 даны важнейшие санскритские соответствия некоторым из этих корней примерно в том виде, как они представлены в (Семереньи 1980, с. 104).

Корень	Презенс	Инфинитив	-tar	-ta-	-ti-
bhar- ‘нести’	bhárati	bhártum	bhartar	bhṛtá	bhṛtí
han- ‘бить’	hánti	hántum	hantar	hatá	hatí
gam- ‘идти’	gámati	gántum	gantar	gatá	gátí
	(aor.)				
<i>jani-</i> ‘производить’	janati	janitum	janitar	jātá	játí
<i>sani-</i> ‘приобретать’	sanōti	sanitum	sanitar	sātá	sátí
<i>bhavi</i> ‘становиться’	bhavati	bhavitum	bhavitar	bhūtá	bhūtí

Таблица 1. Ряды аблаута двусложных (тяжёлых) баз

Рассмотрим приведённые чередования и зададимся нетипичным вопросом: сколько в приведённых корнях мор? Ответ на этот вопрос окажется непрост потому, что речь идёт о чередовании: мы видим, что обычные корни, находясь в закрытом слоге, оказываются как бы двуморными (**bher-tor*), тогда как, подвергнутые ресиллабации, они производят впечатление одноморных (**bhe-ro-me-nos*) – если, конечно, не считать соединительный гласный, явно в корень не входящий. Если же переформулировать вопрос так: каково максимальное число мор, которые могут содержаться в корне, то для обычных корней (**bher-*, **dhē-*) число их явно будет 2 – различие лишь в том, что первые регулярно подвергаются ресиллабации, а вторые – нет.

Сложность (и важность) случая ресиллабации хорошо иллюстрируется и действием закона Зиверса – Эджертон, по которому, в частности, *-*ju-* и *-*ui-* возникают на месте *-*u-* и *-*i-* после тяжёлого слога: причём важно то обстоятельство, что из сформированных корнем слогов, только те вызывают чередование сонантов, которые либо содержат долгий гласный, либо имеют два согласных: так, корень **ped-* допускает добавление суффикса прилагательного *-*u-* (**pedyos*, ‘пеший’, греч. πεζός), тогда как корень

rēg-* даст **rēgiyos*, откуда в латинском *rēgius* ‘царский’, а не *reius* (cf. *maius* < *magvos*) (Sihler 1995, p. 175).

А сколько мор в индоевропейских корнях с двусложными базами? Как видно, их ритмическая особенность в санскрите и греческом явно в том, что они, подвергаясь или не подвергаясь ресиллабации, сохраняют постоянное число мор, равное двум: либо такой корень формирует закрытый (двуморный) слог, либо он «распускается» в двусложную последовательность (стопу). Всё это выглядит так, как если бы корни с тяжёлыми базами упорно стремились противостоять ресиллабации, но так, чтобы всякий раз оказываться больше простого корня с лёгкой базой *либо на мору, либо на слог*: *han-tum* : *jani-tum* = *hatá* : *jātá*. Поэтому есть все основания полагать, что главное отличие корней с тяжёлой базой от прочих в том, что в праязыке максимальное число мор в них было равно трём.

Решения, которые предлагаются для реконструкции праформы корней с двусложными базами, общеизвестны; конкурирующих вариантов сразу три.

1. По традиционному решению эти корни являются двусложными, причём имеющими редуцированный гласный во втором слоге в тех случаях, когда в санскрите корень заканчивается на -i: *jani-* = **gena*. Её недостаток в том, что редуцированный гласный понимается как нулевая ступень долгого гласного, и поэтому при реконструкции (максимально) полной формы этих корней приходится восстанавливать корни, имеющие вид **genē*: такие корни не встречаются ни в одном из засвидетельствованных языков, выпадают из общей структуры корня, и не известно, существовали ли они вообще когда-либо. Другим, не менее слабым местом этого объяснения служит то, что слияние слогаобразующего сонанта с редуцированным гласным (в нулевой ступени) выглядит скорее теоретическим построением, нежели реальным фонетическим процессом.

2. «Ларингальный» подход, мыслящийся сейчас предпочтительным. Принятие «консонантного шва» спасает от необходимости реконструировать полную форму **genē-*, позволяя ограничиться чем-то вроде **genH₁*. Такая реконструкция имеет большую объяснительную силу для описания удлинения сонанта и одновременно ставит корни типа **genH₁-* в один ряд с корнями типа **dheH₁-* или **bher-*. Однако и у ларингальной теории есть свои слабые места, вполне хорошо известные (Семереньи 1980, сс. 155-156; Герценберг 1981, глава III).

Некоторые из этих общеизвестных недостатков имеют, однако, самые существенные методологические претензии. В частности, речь идёт о фонемах, свойства которых очень специфичны: они одновременно и (слоγοобразующие) сонанты и спиранты – последнее следует из того, что они занимают позицию в финали слога, следующую за сонантами, и могут стоять рядом с ними; с другой стороны, из попыток объяснения через ларингалы греческой протезы явствует то, что они могут стоять в абсолютном начале корня и потому, напротив, не могут быть сонантами (также см. (Семереньи 1980, с. 156)). Кроме того, эти звуки могли окрашивать соседние с ними – как справа, так и слева – своим тембром, а согласным придавать одновременно как придыхательность, так и озвончение (Герасимов 2009, с. 17).

Далее, очевидно, что ларингальные фонемы именно ввиду своей природной изошрённости должны были быть явно маркированы по многим признакам, но при этом они же оказываются и невероятно частотными. Весьма сложно найти несколько трёхсложных слов подряд, в реконструкции которых не встретилось бы ни одного ларингала; с этим можно сопоставить и подсчёт Дж. Клаксона (Clackson 2007, р. 41), показавший, к примеру, что фонема **H₂* занимает в корпусе LIV 5-е место.

Наконец, важно сказать о том, что данные современной теоретической фонологии скорее свидетельствуют против того, чтобы сам факт

возникновения категории долготы в (пра)индоевропейском (как это хотели первые ларингалисты) в принципе мог быть объяснён из компенсаторного удлинения, связанного с выпадением ларингала. В самом деле, компенсаторное удлинение есть как бы «переприсвоение» дискретного элемента длительности от одного сегмента к другому (Hayes 1989) – или, если угодно, «передвижение/растягивание» одного элемента слога в позицию длительности, «освободившуюся» от потери другого элемента¹. Это означает, что компенсаторное удлинение есть следствие переразложения категории долготы, но не её причина – иными словами, возникновение самой категории долготы вследствие действия компенсаторного удлинения едва ли возможно. Кроме того, как показано тем же Хейсом, компенсаторное удлинение самой природой своей предполагает объяснение в терминах моры, однако исключительно сомнительно (Gordon 2006), чтобы морная корреляция в языке существовала без долгих гласных. Таким образом, объяснение удлинения гласных праязыка из компенсаторного удлинения требует, в частности, того, чтобы на этот момент в языке уже существовали долгие гласные (как, например, это сделано в ряде новых обобщающих работ, например, (Meyer-Brügger 2002, S. 71)); но такая картина во многом уже оказывается более чем избыточной и заставляет вспомнить о знаменитой «бритве Оккама».

Примечательно, что идея компенсаторного удлинения – вопреки устойчивому мнению – не принадлежит главному идеологу моновокалического решения Ф. де Соссюру. В своём знаменитом «Мемуаре...» (de Saussure 1879) он нигде не пишет о замещении, тогда как во многих случаях довольно ясно видно обратное: сонантические коэффициенты Соссюр

¹ См. разнообразные схемы Хейса, в особенности интересны сс. 268-269, где элемент длительности в мору сохраняется даже с потерей слога (*parasitic delinking*).

не противопоставлял вторым компонентам (позднейших) дифтонгов даже при том, что для этого потребовалось сделать существенное исключение в правилах фонотактики индоевропейского слога и допустить, чтобы, к примеру, фонема *a (= eA = a₁A по Соссюру) может стоять в корне перед сонорным, тогда как простое дифтонгическое сочетание (*ei) в такой позиции оказаться не может. Эта поправка (в сочетании с некоторыми его примерами на санскритские глаголы VII и IX класса – типа *śṛōti*) явно наводит на мысль, что Соссюр должен был бы рассматривать случаи возникновения долгих а и о не как заместительное удлинение, а как *монофтонгизацию*.

3. Наконец, имеется и третья, наименее распространённая, трактовка этих корней, связанная с именами акад. Ф. Ф. Фортунатова и проф. С.Д. Кацнельсона¹. Её важнейшим моментом является внимание к тому немаловажному обстоятельству, что рассматриваемые корни всегда оканчиваются сонантом, и это ведёт к признанию исконной долготы корневого сонанта; причём долгота эта объясняется не как существование самостоятельной фонемы **l̥* в праязыке, а как долгота слога, этот сонант содержащего; появление же редуцированного гласного мыслится как «паразитическое» при всяком слогообразующем сонорном.

В дальнейших исследованиях С.Д. Кацнельсон установил, что слоги типа [VR:] являются нормальными для ряда германских диалектов, имеющих «слоговые акценты», причём слогам этого типа соответствует двухвершинный акцент (в традиционной терминологии – циркумфлекс), проявление которого способно иметь различные последствия и, в частности, вызывать апокопу (Кацнельсон 1973). Очевидно, что в таком случае индоевропейские двусложные базы в действительности могли бы быть отнюдь не двусложными образованиями, укладываясь в общую «трёхбуквенную» схе-

¹ См. в (Кацнельсон 1954) с библиографией.

му индоевропейского корня, но выделяясь при этом в особый подкласс благодаря неким особым просодическим свойствам слогоморфемы.

Какая же индоевропейская реконструкция более всех близка к трёхморной? Ясно, что ларингальная реконструкция претендует на трёхморность *в наименьшей степени* – если, конечно, не признавать за отдельным согласным чудодейственных свойств создавать дополнительную морфемную позицию и тут же при этом выпадать, при том, что группа из всяких двух других согласных привносит лишь *одну морфу*, а не две.

В точности трёхморность реализована в первой традиционной реконструкции, но она плоха как по приведённым соображениям, так и потому, что предполагаемый корень оказывается двусложным.

Реконструкция Фортунатова – Кацнельсона, не утверждая трёхморности категорически, совершенно ей не противоречит, тогда как односложность корня (как и при «ларингальном» объяснении) и отсутствие излишних требований общего характера делают её (по крайней мере для этого случая) во всех отношениях предпочтительной.

Если высказанные мысли верны, то как можно представить себе устройство (пра)индоевропейского корня? Речь, очевидно, идёт об относительно автономных образованиях, подчинявшихся общим закономерностям минимального просодического слова: в частности, корень не мог размещаться в слоге, содержащем менее двух мор. При этом максимально слог мог насчитывать три моры. Если принять, что ресиллабация *ex hypothesi* в какой-то древний период запрещалась, то этому требованию должны были отвечать последовательности CVC, CV: и CVR:, а также, разумеется, сводимые к этим и насчитывающие большее число согласных. Таким образом, корень исконно всегда получался односложным.

Двуморность и её представление в корнях типа CV: выглядит интуитивно понятной, тогда как случаи типа CVR и CVR:, надо полагать, раз-

личались тональными контурами, причём так, чтобы финаль последнего слогоморфа имела различие в тоне на разных морях долгого сонанта. Это можно представлять себе в виде чего-то подобного корреляции толчка (Кацнельсон 1973, Fox 2000, р. 35-36), известной в ряде германских языков, или как-либо иначе – но важно то, что долгий сонант должен был как бы члениться пополам между двумя вокалическими морями конца слога.

В случае толчка это явление до некоторой степени иллюстрируется такими минимальными парами датского языка, как *rosen* [r^hɛ[?]n] ‘милый’ и *rep* [r^hɛn[?]] ‘перо’, в связи с чем любопытно замечание видного германиста Энтони Фокса (2000): *“...в диалектах, не имеющих толчок, есть долгие гласные, тогда как в имеющих, – нет. Это должно было бы означать, что долгота гласного есть глубинное явление, отражающееся в одних диалектах как толчок, а в других – как реальная долгота. Однако последнее не вполне согласуется с точкой зрения Трубецкого, считавшего, что корреляция толчка проявляется только в сочетании с долгими гласными или их эквивалентами: скорее это означает, что толчок есть альтернатива долгим гласным”* (р. 36).

Переход от такой системы к позднейшей может быть представлен так, что при последующем переразложении просодической структуры корня последняя обособленная мора в ряде случаев стала восприниматься не в составе сонорной финали, а как самостоятельная просодема, заполненная «редуцированным» («паразитическим», по Фортунатову) гласным – своего рода гласным «по умолчанию»¹.

Ещё раз скажем о том, что приведённое объяснение не претендует на полноту и статус полноценной («антиларингальной») теории, равным образом как и не требует отмены «ларингальных» в других случаях. При этом мы видим, однако, что рассмотрение вопроса о количественных про-

¹ Ср. в (Белов 2010) предложенную трактовку греческой аугментации.

тивопоставлениях праязыка требует обязательного учёта не только ларингальной теории, но и теории мор, гармоничное сочетание которых могло бы со временем прояснить некоторые тёмные вопросы индоевропейской предистории.

Литература

1. Белов, А. М. (2008). Вопрос о морях (оппозиция арифметической кратности в греческом и латинском языках) // *Discipuli magistro* (к 80-летию Н. А. Фёдорова). М.: РГГУ, pp. 53–73.
2. Белов, А. М. (2009). Латинское ударение (проблемы реконструкции). М.: Academia.
3. Белов, А. М. (2010). Об одной закономерности в системе древнегреческого ударения // *Индоевропейское языкознание и классическая филология*. СПб, 2010.
4. Герасимов, И. А. (2009). Проблемы рефлексии ларингалов в ведийском языке. М.: УРСС.
5. Герценберг, Л. Г. (1978). Реконструкция индоевропейских слоговых акцентов // *Вопросы языкознания* 6: 36–44.
6. Герценберг, Л. Г. (1981). Вопросы реконструкции индоевропейской просодики. Л.: Наука.
7. Касевич, В. Б. (1983). Фонологические проблемы общего и восточного языкознания. М.: Наука.
8. Кацнельсон, С. Д. (1954). Теория сонантов Ф. Ф. Фортунатова и её значение в свете современных данных // *Вопросы языкознания* 6: 47–61.
9. Кацнельсон, С. Д. (1973). Об обязательной и факультативной апокопе // *Philologica. Исследования по языку и литературе*. Памяти академика В. М. Жирмунского. Л.: Наука.

10. Мейе, А. (1938). Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков. М.-Л.
11. Семереньи (1980). Введение в сравнительное языкознание. М.: Прогресс.
12. Трубецкой, Н. С. (2000/1960). Основы фонологии. М.
13. Clackson, J. (2007). Indo-European Linguistics: An Introduction. Cambridge University Press.
14. de Saussure, F. (1879). *Mémoire sur le système primitif des voyelles dans les langues indo-européennes*. Leipsick.
15. Fox, A. (2000). Prosodic Features and Prosodic Structures: The Phonology of Suprasegmentals. Oxford University Press.
16. Gordon, M. K. (2006). Syllable Weight: Phonetics, Phonology, Typology. N.Y.-London: Routledge.
17. Hayes, B. (1989). Compensatory lengthening in moraic phonology // *Linguistic Inquiry* 20, No.2: 253–306.
18. Hock, H. H. (1986). Compensatory lengthening: In defense of the concept 'mora' // *Folia Linguistica* 20: 431–460.
19. Meyer-Brügger, M. (2002). *Indogermanische Sprachwissenschaft*. Berlin – N.Y.: Walter de Gruyter.
20. Sihler, A. (1995). *New Comparative Grammar of Greek and Latin*. N.Y. – Oxford.

Санскрит как воплощение ключевых идей древнеиндийской культурной традиции

И. И. БОГАТЫРЕВА (МОСКВА)

В последнее время внимание многих исследователей, занимающихся самыми разными языковыми проблемами, сосредоточено на изучении вопросов, которые в своё время Ф. де Соссюр отнес к компетенции внешней лингвистики: это реконструкции как отдельных фрагментов, так и целостной картины мира отдельных языков, описание языковых фактов и явлений в неразрывной связи с культурой народа – носителя того или иного языка, описание и интерпретация концептуальной сферы отдельного языка и т.п. Можно сказать, что современная лингвистика активно пытается понять и изучить способы, при помощи которых язык в своих единицах отражает, воплощает, сохраняет и транслирует культуру. Представляется справедливым высказывание Э.Сепира, что культура – это то, *что* данное общество делает и думает, а язык же есть то, *как* думают.

Санскрит, безусловно, являет собой яркий пример языка, воплотившего в своих формах, категориях и лексических единицах многие основополагающие идеи древнеиндийской культурной традиции. Цель данной работы – продемонстрировать некоторые из них.

Единство в многообразии – это сущность индийской культурной традиции и индийского миропонимания. В Древней (как и в современной) Индии было представлено многообразие языков, философских концепций, медицинских направлений, религиозных взглядов, литературных школ и т.д. Но это чисто внешнее многообразие форм содержало в себе некое сущностное единство содержания, общий глубинный смысл.¹ Происходило

¹ См., например: А.С.Бархударов. Развитие индоарийских языков и древнеиндийская культурная традиция. М., 1988.

дробление целого на части, чтобы потом дать синтез этих частей на качественно ином уровне. Отражением этого процесса в санскрите является, в частности, наличие невероятно развитой синонимии: разные варианты именования одного понятия (как части целого) помогают расширить и обобщить это понятие.

Так, например, *огонь* на санскрите именовался как *agni*, *anala* (от **al-* ‘расти, увеличиваться; питать’ с отрицательным префиксом, т.е. ‘ненасытный’), *tejas* (от **steig-* ‘вершина’, т.е. ‘имеющий вершину, стремящийся вверх’), *vahni* (т.е. ‘везущий, перевозчик’), *pāvaka* (т.е. ‘чистый, очищающий, проясняющий’), *jvala*, *jvalana* (‘горящий, пылающий’), *śuṣman* (‘сильный, энергичный’), *huta-bhuj* (‘пожиратель жертвы’), *hutāṣana* и *hutāṣa* (‘тот, для кого жертва является пищей’), *huta-vaha* (‘приносящий жертву’), *sapta-jihva* (‘имеющий семь языков, семиязычный’), *agni-jihva* (‘огненнаязычный’), *ghṛtārcis* (‘излучающий жертвенное масло, с жертвенным жиром на лучах’), *dhūma-ketana* (‘заметный, узнаваемый по дыму’). Помимо этих имён могли быть представлены также названия конкретных видов огня: *mṛgmṛga* ‘огонь от тлеющего угля’, *agni-hotra* ‘священный жертвенный огонь’, *vāḍava* или *vāḍavāgni* ‘подводный огонь, не гасимый даже водами океана’ и др. *Мудрец*, *мудрый* на древнеиндийском мог выглядеть как *ṛṣi*, *kavi*, *cikit*, *cittin*, *dhīmant*, *dhīra*, *paṇḍita*, *pracetas*, *budha*, *buddha*, *matimant*, *matuttha*, *manasvant*, *māyin*, *muni*, *medhāvin*, *medhira*, *vicakṣaṇa*, *vijñānavant*, *vijñānin*, *vidvaṅs*, *vipaṣcit*, *vipra*, *su-vidvas*.

В основе же санскритской полисемии (равно как и вышеозначенной синонимии), представляющей собой чрезвычайно яркую характерную черту древнеиндийского языка, лежит концепция брахманизма, получившая своё дальнейшее развитие в индуизме, в центре которой – понятие *майя*, предполагающее иллюзорность внешнего мира, относительность различных форм, способных многообразно отражать Абсолют. Предполагалось, что в

основе всех этих форм лежит *единая* сущность, точно так же и одно и то же слово может выразить разные значения. Все материальные объекты нереальны, потому и семантика слов нереальна.

В качестве примера можно привести следующие словарные статьи из словаря В. А. Кочергиной, в которых можно наблюдать, насколько необычным, причудливым и даже странным образом объединяются разные значения в пределах одного и того же санскритского слова:

go¹: 1) бык; 2) бычья кожа; 3) коровье молоко; 4) Pl. звёзды; 5) Pl. лучи света; 6) корова; 7) земля; 8) речь;

gasa²: 1) сок растения; 2) сироп; 3) жидкость, вода; 4) сердцевина; 5) суть, сущность; 6) ртуть; 7) доза лекарства; 8) глоток яда; 9) привкус, вкус (как отличительный признак жидкости); 10) язык как орган вкуса; 11) чувство, склонность к чему-либо; 12) восторг, восхищение; 13) поэтическое переживание, эмоция, аффект; 14) религиозное чувство. Следует отметить, что gasa в значениях 9, 13 и 14 – это термины из различных областей науки (соответственно аюрведы и поэтики) или религии, представляющие собой именованья родовых понятий, представленных разными видами: так, в аюрведе выделяется шесть видов gasa, в поэтике – от восьми до десяти gasa, в религии – пять gasa.

В некоторых случаях в пределах одного слова объединяются очень противоречивые, а иногда и противоположные друг другу смыслы, происходит поляризация разных значений одной лексической единицы, т.е. возникает явление энантиосемии. Так, ведийское agi имело значения как 'благочестивый, верный, друг', так и 'враждебный, враг'; существительное saṁsa могло обозначать одновременно и 'благословение, восхваление', и 'прокля-

¹ В.А.Кочергина. Санскритско-русский словарь. М., 1987, стр. 196.

² Там же, стр.540.

тие'; *ṣukra* в одном из своих значений использовалось как 'огонь', а в другом – как 'вода' и т.п.

Можно сказать, что вообще по всему языку рассеяна самая разнообразная культурная информация. Она представлена и в семантике лексических единиц, и в грамматических категориях, и в синтаксических структурах. Достаточно ярко она проявляется в системе образов, закреплённых в лексической семантике, в первую очередь, это касается разного рода языковых метафор, поскольку они очень часто отражают особые формы мысли, присущие носителям той или иной культуры. Более того, метафоры представляют собой важнейший механизм освоения мира человеческим мышлением и играют существенную роль в формировании как понятийной системы человека, так и структуры того или иного языка¹.

Бесспорно, невероятно развитая в древнеиндийском языке (как в Ведах, так и собственно в санскрите) полисемия сформировалась во многом благодаря метафорическому представлению многих понятий и реалий неязыковой действительности. Именно языковая метафора позволяет, увидев с разных сторон один и тот же объект, именовать его разными способами. Так, наряду с достаточно нейтральным существительным *siṃha*, именующим *льва*, в санскрите есть и другие названия этого животного: *keçin* 'гривастый', *kesarīn* 'волосатый, длинноволосый, имеющий гриву', *mṛgādhipa* 'повелитель зверей' и *mṛgārāti* 'враг газелей, антилоп'. *Ṣaṅkal* может быть назван 'кричащим, орущим' (*kroṣṭar*, *kroṣṭu*, *kroṣṭuka*). *Pṛcchā* бывает 'делающей мёд' (*madhu-kara*, *madhu-kṛt*), 'пьющей мёд, нек-

¹ Родоначальником исследований, посвящённых месту и роли языковых метафор в концептуализации действительности, является Б. Уорф. Благодаря Дж.Лакоффу и М.Джонсону возникла когнитивная теория метафоры, популярная сейчас и за пределами собственно лингвистики.

тап’ (madhu-pa), ‘слизывающей мёд, нектар’ (madhu-lih), ‘верной, преданной мёду’ (madhu-vrata). *Земля* видится как ‘терпеливая, выносливая, прощающая’ (kṣam, kṣāman, kṣāmi), ‘широкая, просторная’ (urvī), ‘большая, сильная, величественная’ (mahī), ‘несущая, держащая’ (dharanī, dharā), ‘существующая’ (bhū, bhūmi, bhūman), ‘ограниченная с четырёх сторон’ (catur-antā), ‘подруга, союзница’ (medinī), ‘живая, полная жизни’ (jagat, jagatī).

В современной научной литературе принято разграничивать понятия *научной* и *наивной* картины мира. При этом, как правило, отмечают, что научная картина, воспроизводя структуру действительности в целом или структуру отдельных компонентов действительности, даёт нам своеобразную форму систематизации знаний о мире, при этом она не зависит от конкретного языка, на котором изложена та или иная научная концепция. Говорят, что именно наивная картина мира непосредственно связана с языковой, т.к. она отражается в том или ином языке и связана с материальной и духовной жизнью народа – его носителя, она формируется под влиянием культурных ценностей и традиций той или иной нации. Но ещё Л.Вайсгербер отмечал, что не бывает универсального научного познания, что и оно в той или иной мере зависит от конкретного языка как промежуточного мира, который находится между познающим субъектом и объективно существующей реальностью. Промежуточный мир языка задаёт научной мысли то или иное направление, своеобразно окрашивает научную теорию, поскольку научные термины, как и слова, не являющиеся терминами, не могут быть абсолютно нейтральными и универсальными.

Эту особенность научного познания можно увидеть и на материале древнеиндийской терминологии – в частности, медицинской. В аюрведе представлен особый, совершенно не похожий на европейский, взгляд на устройство и функционирование человеческого организма. Аюрведические термины в подавляющем большинстве случаев не соотносятся с термина-

ми, принятыми в западноевропейской медицине. У них не может быть аналогов, поскольку тело человека мыслится как некая динамическая структура, чью нормальную деятельность задают определённые функциональные системы, и эти системы не локализованы в конкретных органах, а «пронизывают» весь организм в целом. Потому древнеиндийские медицинские трактаты оперируют такими понятиями, как *ветер* (vāta), *огонь* (pitta), *слизь* (kapha) и их разновидностями. Потому *здоровье* буквально переводится как ‘равновесие [основных] компонентов [тела]’ (dhātu-sāmya), а *болезнь* понимается как нарушение такого равновесия (dhātu-vaiṣāmya, doṣa-vaiṣāmya). Потому один из базовых терминов аюрведы – doṣa – несёт в своей семантике противоположные смыслы: doṣa – это и жизненно необходимая составляющая тела (бесспорно, положительное качество), и ‘недостаток, вред, порок’ (т.е. нечто негативное, что приводит к болезни). И такого рода примеров существует огромное количество.

Непосредственное отражение в древнеиндийском языке нашла также ведийская концепция Речи и Слова. Поскольку язык – это воплотившийся в звуке и смысле Абсолют, т.е. Брахма, то правильное применение языка – это и средство приобщения к Брахме, и способ соблюдения дхармы и даже возможность достижения высшей цели человеческой жизни – спасения души (мокши). Отсюда и довольно жесткая регламентация грамматических норм санскрита, и построения текстов на санскрите.

Палататализации как движущая сила преобразований греческой фонологической системы: два синхронных среза: древнегреческий и новогреческий язык

В. В. БОРИСЕНКО (БЕЛГРАД)

1) Два типа результатов палатализации: палатализованные и палатальные. В качестве примеров: фонологическая система русского языка, где присутствует серия палатализованных согласных, и сербская фонологическая система с особым рядом палатальных фонем.

Типологические последствия: тенденция избегать чередования согласных по ряду, но заменить их меной по твёрдости – мягкости согласных (вм. дееспричастия от глагола "беречь" – "бережа" предпочитается – "берегя" и т.п.) в русском языке. Однако в сербском – противоположная тенденция: стремление к мене свистящего на шипящий в позиции перед "э" даже там, где этого не требуется. (вм. "спасен" – "спашен").

2) Преобразования индоевропейского йота в древнегреческой фонологической системе. Отражение этих преобразований в графике. Позиционный принцип греческой орфографии.

3) Палатализация в древнегреческом языке как компенсация утраченного индоевропейского йота. Связь палатальности с делабиализацией.

4) Фонологическая система современного греческого языка и фонологизация новой фонемы йот в этой системе.

5) Способы отражения этого явления в современной греческой графике и орфографии.

6) Сопоставление греческой и русской графики в способах передачи фонемы йот.

7) Сопоставление двух видов функционирования современного русского языка в виде КЛЯ и РР с двумя видами функционирования современного греческого языка: кафаревуса и димотика.

Принципы вторичной номинации (на примере лексики санскрита)

ВОЛОШИНА О.А. (МОСКВА)

1. Понятие вторичной номинации

1.1. Вторичная лексическая номинация – это использование уже имеющихся в языке слов для обозначения новых понятий. В процессе познания окружающего мира и отражения новых знаний, человек часто использует уже имеющиеся в языке средства выражения. Поскольку словесных знаков в языке ограниченное количество, а новые смыслы появляются непрерывно, язык вынужден «экономить» слова, следствием чего является асимметрия между содержанием языкового знака и способом его выражения.

Слова не только отражают представления человека о мире, но постоянно вовлекаются в круговорот развития самих понятий, то есть служат средством языкового мышления. Проблема вторичной номинации, таким образом, оказывается вовлеченной в круг вопросов о взаимосвязи языка и мышления.

Механизм вторичной номинации основан на установлении сходства или подобия разнородных объектов по определенным признакам. Поэтому одним из важнейших приемов вторичной номинации является метафорическое употребление слова для обозначения нового понятия.

1.2. Метафора (греч. μεταφορά – «перенос, переносное значение») основана на переносе части значения одного понятия на другое, при этом разные объекты сравниваются на основе общего признака. В некоторых случаях признак, положенный в основу сравнения двух объектов, является настолько важным для их характеристики, что сравнение кажется очевидным и имеет универсальный характер. Иногда основой для сравнения вы-

бирается несущественный признак, тогда сравнение носит субъективный, часто оценочно-экспрессивный характер. Субъективный фактор при метафоризации играет решающую роль, произвольно выбирая основание для сравнения разных объектов, говорящий выражает свое отношение к предмету.

2. Принципы вторичной номинации (на примере лексики санскрита)

Санскрит представляет богатый материал, демонстрирующий метафорическое осмысление окружающего мира. В санскрите слова являются образными, производные слова мотивированы и долго сохраняют свою «внутреннюю форму». "Внутренняя форма слова" основывается на возможности "догадаться" о значении нового слова по его форме, которая полностью или частично повторяет форму старого слова. "Внутренняя форма" является основанием для переноса признака и помогает долгое время наблюдать связь двух понятий, отраженную в метафоре. Постепенно "внутренняя форма" стирается, связь двух слов перестает осознаваться.

В результате вторичной номинации образуются структуры, которые определяются внутренним устройством языка. Номинативная деятельность определяется рамками языкового опыта конкретного народа. Санскрит, например, активно использует конверсию, различные словообразовательные средства и сложные слова.

Механизм номинации и ее результаты зависят от внутреннего устройства языка, от того, что именно определяется: конкретный предмет или абстрактное понятие, от признака, положенного в основу сравнения, от значения, которое переосмыслиется и т.п.

2.1. Номинация людей, предметов и явлений окружающей действительности.

Картина предметного мира существенно различается в языках мира. В санскрите предметы и явления имеют образные, яркие, метафорические названия, которые в целом представляют поэтическую и мифическую основу видения мира в древней Индии.

Названия людей:

akṣara-mukha – 1) студент, 2) ученый (букв. имеющий рот, полный слогов/ слов)

marta – 1) смертный, человек.

Названия частей тела:

navadvāra (navan + dvāra) – тело (букв. "обладающий девятью отверстиями (входами)");

kara-kisalaya – палец (букв. "росток руки");

danta-vastra – губы (букв. "одежда зубов").

Названия животных и растений:

dirgha-jihva – змея (букв. "с длинным языком");

rakta-pāda – попугай (букв. "красноногий, с красными ногами");

ambu-ja – лотос (букв. "рожденный в воде").

Названия природных объектов:

megha-nāda – гром (букв. "шум облаков");

dina-bandhu – солнце (букв. "друг дня");

jalātyaya (jala + atyaya) – осень (букв. "исчезновение воды") – холодный сезон в Индии следует за сезоном дождей;

ambu-da – облако (букв. "дающий воду").

Названия предметов:

kalāpa – 1) связка, пачка; 2) узел; 3) множество; 4) совокупность; 5) колчан; 6) павлиний хвост; 7) украшение, орнамент; 8) поэма, стихи (написанные одним размером).

Особый интерес представляют *имена собственные*, которые характеризуют субъект по какому-то важному, яркому признаку (особенно имена богов и героев). В санскрите часто такая характеристика выражается сложными словами *bahuvrīhi*:

mahā-mūrdhan – Большеголовый (эпитет Шивы) (букв. имеющий большую голову)

musalāyudha (*musala* + *āyudha*) – Вооруженный палицей (эпитет Баларамы) и т.п.

Как известно, в санскрите очень распространены синонимы, поэтому бог Шива, например, может называться по-разному: "имеющий большую голову", "имеющий длинные волосы", "имеющий глаз на лбу" и т.д., и все эти наименования образуют длинные ряды синонимов.

2.2.Номинация абстрактных понятий, фиксирующих фрагмент не материального, а идеального мира.

Еще более глубокие различия между языками наблюдаются в системе абстрактных имен, так как понятия формируют и отражают мир идей, уникальный для каждого народа, являющийся отражением своеобразной "языковой картины идеального мира". Например, представители разных культур и языков могут понимать значение слов "стыд", "совесть", "честь" и т.п.

Вторичная номинация абстрактных понятий в целом основана на уподоблении абстрактного понятия конкретному (предметному). Поскольку метафора есть языковой механизм сравнения разных объектов на основе "общего" признака, метафорическое употребление конкретного имени для обозначения абстрактного понятия является широко распространенным приемом. При этом слово употребляется в переносном значении:

argala – 1) задвижка, засов; 2) препятствие, помеха;

kaumudī – 1) лунный свет; 2) освещение, разъяснение;

anūka – 1) спинной хребет, 2) твердость характера;

avasaṃ – 1) срывание, собирание (плодов, цветов); 2) считывание, чтение;

asahana – 1) нестойкий, 2) зависимый, 3) ревнивый.

Для обозначения абстрактного понятия часто используются словообразовательные способы, при этом значение производного слова представляют большее или меньшее переосмысление конкретного значения исходного слова. Например,

maṃyā-dā – 1) граница, 2) край, конец, 3) ограничение, 4) правило, 5) соглашение, договор; maṃyādīn – 1) остающийся в границах, 2) сдержанный, 3) сосед

anugaḥ – 1) окрашиваться, 2) становиться красным, 3) быть восхищенным, 4) любить; anugāḥa – 1) краска, 2) краснота, 3) симпатия; anugāḥavānt – 1) красный, 2) влюбленный, охваченный страстью.

2.3. Термины как результат номинации специальных понятий.

Система лингвистических терминов санскрита, как и многих других древних языков, формировалась на основе переосмысления слов общеупотребительного языка. Переход бытового слова в термин, часто является результатом метафорического переосмысления значения. При создании термина за основу берется один из семантических признаков общеупотребительного слова, которое получает новое специальное значение и становится названием класса явлений, объединенных по отмеченному признаку. Этот признак и формирует термин, входит в состав его дефиниции. Даже если в основу термина был положен ошибочный признак (например, "атом" у Демокрита), термин не меняет своей формы, так как определяющим свойством термина становится способность выражать специальное научное понятие в рамках определенной системы знаний.

Номинация специального понятия в целом похожа на номинацию абстрактного имени, однако термин как слово научного языка приобретает некоторые особенности: он не имеет (или теряет в процессе терминологизации) эмоционально-оценочного значения, избегает появления синонимов, стремится к однозначности и т.п.

Например,

dhātu – "слой, металл, руда, первичный элемент в индийской философии"; лингв "корень";

sanyoga – "супружество, дружба"; лингв. "слитные согласные, то есть согласные, неразделенные гласными";

saṃāsa – "соединение, сочетание"; лингв. "сложное слово" и т.п.

В некоторых случаях специальное значение термина настолько приближено к значению общеупотребительного слова, что при условии понимания научного контекста легко может быть установлено. Причем часто "внутренняя форма" термина может не только объяснить его значение, но и подчеркнуть главную особенность научного понятия, его характерный признак.

Принципы вторичной номинации универсальны в разных языках, поскольку опираются на общие свойства человеческого мышления выделять, отражать и классифицировать объекты окружающего мира. Однако каждый язык представляет уникальные решения конкретных номинативных задач. Своеобразная структура каждого языка направляет процесс вторичной номинации, является тем руслом, в котором протекает переосмысление старых понятий для обозначения новых смыслов. Языковая техника вторичной номинации обеспечивается внутренними ресурсами языка.

Санскрит, например, активно использует метафоризацию, конверсию и словообразование как способы порождения новых слов из старого

языкового материала. Своеобразной чертой санскрита является широкое использование сложных слов как способа вторичной номинации.

Важной задачей при изучении вторичной номинации представляется классификация и анализ исходных и производных наименований. Подобное исследование, вероятно, поможет обнаружить закономерность во внешне хаотичной и стихийной сфере вторичной номинации.

Литература:

1. Кочергина В.А. Санскритско-русский словарь. М., 1987.
2. Телия В.Н. Вторичная номинация и ее виды // Языковая номинация (Виды наименований). М., 1977.

Концептуальная метафора Ф. де Соссюра и смена научной парадигмы

ВОЛОШИНА О.А. (МОСКВА)

Наряду с терминологией, которая отражает систему понятий, а следовательно, структуру знаний об изучаемом объекте, любая наука на определенном этапе создает яркий, метафорический образ этого объекта. Формирование такого образа основано на стремлении создать простую модель (от лат. *modulus* – образец) сложного объекта, при этом подмечается определенное сходство теоретического построения с реально существующим объектом. Подобное сравнение, позволяющее сформировать научный концепт на основе уже имеющегося понятия, в языке выражается в виде концептуальной метафоры.

Если термин отражает основные, важнейшие свойств и отношения понятий, то метафора – разнообразные, изменчивые и часто субъективные представления об объекте. Это свойство метафоры позволяет увидеть объект в новом ракурсе, обнаружить новые его свойства и отношения, а значит наметить дальнейшие пути развития науки, увидеть новые горизонты проблемы.

Ф. де Соссюр считал, что "есть такие метафоры, избежать которых нельзя. Требования пользоваться лишь терминами, отвечающими реальным явлениям языка, равносильно претензии, будто в этих явлениях для нас уже ничего неизвестного нет" (Соссюр, Указ.соч., с. 43).

Концептуальные метафоры демонстрируют такое видение научного объекта исследования, которое во многом определяет направление и способ его исследования. Соссюр пишет о лингвистическом объекте: «В лингвистике объект вовсе не предопределяет точки зрения, напротив, можно сказать, что точка зрения создает самый объект» (Соссюр, Указ. соч., с. 46). Разные метафоры предлагают разное видение одного и того же объ-

екта, формируя разные научные теории. Концептуальная метафора имеет гипотетическую природу. Ключевые метафоры, формирующие представление об объекте могут плохо сочетаться друг с другом или совершенно друг друга исключать.

Известно, что многие лингвисты в целях наглядного пояснения своей теории, предлагают различные метафоры. В первой половине 19 века в языкознании очень распространены были концептуальные метафоры, пришедшие из биологии. Следует заметить, что использование одной теоретической модели в разных областях науки свидетельствует о гибкости метафоры как средства получения нового знания. Братья Фридрих и Август Шлегель, а также увлекавшийся учением Ч.Дарвина Август Шлейхер рассматривали язык как живой организм (подобно растению или животному). Поэтому в процессе своего развития язык (как организм) проходил определенные стадии: детство (незрелый язык), зрелось (расцвет языка) и старость (деградация языка). Языки в процессе эволюции боролись за существование, при этом выживали такие, чье внутренне устройство наиболее успешно позволяло языку функционировать в человеческом обществе. Шлейхер, например, считал баскский язык представителем семьи языков, не выдержавшей конкуренции с более удачно организованными индоевропейскими языками.

Историческое изменение родственных языков Август Шлейхер представлял в виде родословного дерева, ствол которого является общим праязыком-предком, а ветки – отдельными группами семьи языков. Эта концептуальная метафора, несмотря на критику, лежит в основе современных представлений о развитии родственных языков.

Согласно «теории волн» И.Шмидта, языковое явление (фонетическое, грамматическое или лексическое) распространяется по определенной территории, подобно волнам от брошенного в воду камня.

Г.Шухардт, критикуя теорию дивергентного развития родственных языков также прибегал к метафоре и говорил о том, что в природе не существует дерева, ветки которого бы вновь срослись, а разошедшиеся когда-то языки могут вновь влиять друг на друга, кроме того, язык может испытывать влияние со стороны соседнего, но принадлежащего другой семье языка. Бодуэн де Куртернэ в "Опыте фонетики резьянских говоров" говорил о том, что изучаемый им славянский говор (резьянский), испытывавший сильное влияние угорских (мадьярских) языков, представляет собой нечто среднее между славянским и мадьярским языковым типом.

Влияя друг на друга, научные метафоры определяют направление научного поиска. Так, можно сказать, что метафора Шлейхера демонстрирует диахроническое развитие языков, а метафора Шмидта – синхронное их состояние.

"Курс общей лингвистики" Ф. де Соссюра предложил научному миру яркие метафоры, которые по-новому представляли исследуемый объект и предлагали новый способ организации знаний. Язык можно уподобить "игре в шахматы", поскольку каждая единица выполняет особую функцию в языковой системе, ее поведение зависит от всей системы в целом. Антиномия языка и речи отразилась в представлении о симфонии (язык) и ее исполнении (реализация в речи). Языковой знак Соссюр сравнил с листом бумаги, указывая на неразрывную связь значения и материального выражения.

Последователи Соссюра также стали понимать язык как систему взаимосвязанных элементов, исследования были направлены на поиск структурных отношений элементов языка. Представление о языке как о сложной системе, имеющей иерархическое устройство, нашло выражение в метафорическом выделении "уровней" ("ярусов") языка. В рамках структурного подхода к языку единица определяется в зависимости структурных

связей единицы с другими единицами, то есть от места в системе ("фонема – "пучок" фонологически существенных признаков").

Яркие метафоры Л. Теньера также представляют сложную системную организацию единиц языка, определяющую их структуру: "валентность" глагола – способность присоединять разное количество актантов, то есть валентность – крючок, которым глагол притягивает к себе действующие лица.

Современная "антропоцентрическая" лингвистика, используя метафору Соссюра "язык – игра в шахматы", предлагает обратить особое внимание не на правила игры, а на самих игроков.

Таким образом, сложность смысловой структуры слова, на котором строится метафора, часто является причиной того, что один и тот же объект представляется с разных сторон в разном метафорическом контексте, поэтому метафора всегда таит возможность нового взгляда на известный объект, который выявит ранее незамеченные свойства и отношения. Таким образом, метафора может стать каналом получения новой информации об объекте, благодаря которому происходит расширение, углубление, а в конечном счете и перестройка всей традиционной системы знаний о мире.

«Метафора служит тем орудием мысли, при помощи которого нам удается достигнуть самых отдаленных участков нашего концептуального поля. Объекты, к нам близкие, легко постигаемые, открывают мысли доступ к далеким и ускользающим от нас понятиям. Метафора удлинняет «руку» интеллекта» (Ортега-и-Гассет, Указ. соч., с.72).

Литература

1. Ф. де Соссюр Курс общей лингвистики // Труды по языкознанию. М. "Прогресс", 1977, с. 46, 43.
2. Ортега-и-Гассет Две великие метафоры // Теория метафоры, М., 1990, с. 72.
3. Гусев С.С. Упорядоченность научной теории и языковые метафоры // Метафора в языке и тексте. М., "Наука", 1988.

История кроется в словах: к вопросу об инскрипциях

Н. А. ГОНЧАРОВА (МИНСК)

Начиная с XVI века, латинская письменность становится важным компонентом культуры Беларуси, что нашло свое отражение, в том числе и в эпиграфике. Так на территории Беларуси, преимущественно в ее западных землях, формируется специфическая разновидность средневековой «парадной» латыни. Использование латинского языка в инскрипциях было обусловлено не столько практическими потребностями, сколько статусом самого языка, который стал знаком принадлежности к элите общества. Инскрипции – это особая форма существования латыни. «Надпись не есть создание писателя, это не воспроизведение жизни, надпись – это сама жизнь во всей своей сложности и реальности, где все существенное смешано со случайным» (Федорова Е. В. Латинские надписи. – М.: Изд-во Московского университета. – 1976). В надписях кроется история жизни народа. Латинские надписи можно встретить на стенах католических храмов и гражданских зданий, памятниках, мемориальных сооружениях, на посуде, памятных предметах, картинах. Нанесение инскрипций на материальные объекты сначала преследовало цель донести определенную информацию до окружающих. Со временем возникает установленная форма инскрипций, основными элементами которых были – название имени действующего лица, дата, содержание действия. Надписи были сакральные, гражданские, эпиграфические. Сакральный характер надписей подчеркивался обращением к Богу. В инскрипциях на гражданских архитектурных сооружениях, часто использовались цитаты из произведений популярных авторов, моралистические афоризмы.

Статья посвящена описанию латиноязычных надписей, выявленных в городе Минске.

Основными и наиболее ранними носителями латиноязычной эпиграфики города Минска являются католические костелы. Самые ранние из надписей на костелах относятся к XVIII веку. Надписи пишутся как снаружи, так и внутри храмов.

Одним из старейших костелов города Минска является Архикафедральный костёл Пресвятой Девы Марии (*Paroecia romano-catholica Ecclesiae Archicathedralis sanctissimi nominis Mariae*). Название костела написано на латыни с правой стороны от входа в кафедральный собор, главный католический храм в Минске. Костёл был построен в 1710 году как храм при иезуитском монастыре. В 1773 году под давлением светских властей европейских стран орден был временно запрещён папой Климентом XIV. В 1798 году была создана Минская диоцезия, и костёл изменил свой статус, став кафедральным костёлом имени Пресвятой Девы Марии. Костел поражает прихожан своей необычайной красотой. Внимание привлекают таблички с латинскими надписями, расположенными на параллельно стоящих колоннах: *Christus heri semper hodie* (Христос вчера всегда сегодня). Над алтарем возвышается латинское выражение: *Non nobis domine poⁿ novis sed pomini tuo da gloriam* (Не нам ты даешь славу, а имени своему). На греко-латинском распятии в левой части алтаря написано: *Iesus Nazareuus, rex Iudaeorum* (Иисус Назарей, царь Иудейский). Согласно Евангелию от Иоанна, эта надпись – по-еврейски, по-гречески и по-латыни – была сделана на кресте, где был распят Иисус.

Среди минчан особой популярностью пользуется Красный костел. Он расположен в центре города, имеет вместительный зал и при строгой архитектуре не лишен изящества. Витражи сделаны по мотивам белорусских народных художественных традиций. Главный портал украшает фамильный герб Войниловичей. Внутри здания можно видеть ряд латинских выражений духовного содержания: *Ecce Agnus Dei* (Вот Агнец Божий). Это

известное выражение из Евангелия от Иоанна: «На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: вот Агнец Божий». Рядом слова из католической мессы: Sanctus, sanctus, sanctus (Свят, свят, свят). На скульптуре архангела Михаила, помещенной в костеле, можно увидеть надпись: Qui ut Deus (Кто как Бог). Костел был построен в самом начале XX века на средства дворянина Эдварда Войниловича и назван по его настоянию, именами святых Симеона и Елены, в память о его детях, умерших в раннем возрасте. Автором проекта был архитектор из Варшавы Т. Пояздерский. Костел освещен в 1910 году.

Еще одним памятником на территории Беларуси, содержащим латинские надписи духовного содержания является Кальварийское кладбище – самое старое из сохранившихся в Минске. Название Кальвария восходит к латинскому слову Calvaria (Calva) – череп. Оно по-латински означает то же, что по-гречески Голгофа – место, где распяли Христа. В 1839 году в центре кладбища на месте деревянного был построен костел из бутового камня. В 1899 году его реставрировали. Костел является памятником неоготического стиля. На фасаде здания, над входом возвышается надпись на латыни: Pax vobis (Мир вам). Так воскресший Христос обратился к своим ученикам, внезапно появившись среди них. (Евангелие от Луки: Stetit Jesus in medio eorum et dicit eis: «Pax vobis». – Иисус стал посреди них и сказал: «Мир вам».) Слова можно использовать при приветствии, подчеркивая, что входишь в дом с благими намерениями. Снаружи перед входом можно прочитать Maria mater ecclesiae (Мария – мать костела). На четках статуи Марии написаны слова: Rosa mystica (букв. Таинственная роза). Предположительно, выражение rosa mystica употребляется в значении «четки» (белорусское *рузанец* восходит к латинскому *rosarium*). На алтаре бросается в глаза надпись: Ave Maria (Радуйся, Мария) – этими словами начинается католическая молитва, содержащая благословение Марии как Богоматери.

Традиционно декоративный характер носят инскрипции на картинах художников XVI – XVIII веков. В истории белорусского искусства известна коллекция овальных радзивилловских портретов с латинскими надписями (Баженова О. Каталог портретов рода Радзивиллов). На сегодняшний день только три портрета из 163 находятся на территории Беларуси.

Национальный художественный музей Республики Беларусь имеет в своей коллекции картину неизвестного художника под названием «Папа Пий V» (первая четверть XVIII века). На холсте изображен Пий V (в миру Антонио Гислиери – Antonio Ghislieri) папа Римский с 1566. Внимание привлекает надпись на латыни: Sanctus Pius V (quintus) summus pontifex ordinis pradicatorum. Flectus 1566 obiit 1572 (Святой Пий V – верховный понтифик с 1566 до 1572 года). Надпись обрамляет портрет и придает картине законченный вид.

Недавно на аукционе, проводимом в Минске, появился портрет Николая Радзивилла с плохо сохранившейся надписью: A Carolo V imperatore insignia ducalia incolumi Ioannis filio transferuntur [et ?] in Olica et Nesvie comitis imperia Augusta Vindeicorum Nicolao deficiente prole mascula Nicolai secundi etc.

В Национальном музее истории и культуры Беларуси хранится слущкий пояс, тканый на радзивилловской мануфактуре, на котором сохранилась надпись: Me fecit Slucia Joannis Modzarski (Меня сделал в Слуцке Иоанн Маджарский).

Рецепция античной культуры проявлялась на белорусских землях не только в исторический период. Традиция использования латинских надписей на материальных объектах города не иссякает и сегодня. Примером могут служить латиноязычные надписи, которыми украшена Национальная библиотека. Новое здание Национальной библиотеки стало уникальным символом современной Беларуси. Этот сложный архитектурно-

строительный и программно-технический комплекс является ведущим информационным центром страны. В нем собрано около 70 тыс. редких и старопечатных книг и рукописей. Вход в библиотеку исполнен в виде раскрытой книги, на листах которой начертаны надписи на различных языках, а сверху – алмаз, символизирующий знание и чистоту служения. *Ut perfectus sit Homo Dei, ad omne opus bonum instructus* (Да совершенен будет божий человек и на всякое доброе дело уготовлен), – гласит надпись на фасаде библиотеки. (Цитата из второго послания Павла Тимофею). Авторство данного выражения в славянской традиции часто приписывают Ф. Скорине.

Multa ego roxanis legi antiquissima libris quorum sermonem graece elementa notant (Я прочитал многое в древнейших русских книгах, в словах которых присутствуют греческие элементы). Данное высказывание, расположенное на одной из страниц развернутой книги на фасаде библиотеки, принадлежит известному белорусскому латиноязычному поэту Н. Гусовскому, автору знаменитой поэмы «Песня про зубра».

Нередко латинские надписи украшают холлы, аудитории, читальные залы различных учебных заведений. В здании ректората БГУ можно прочесть надписи: *Scientia et potentia humana in idem coincident*. *Фрэнсис Бэкон*. (Знание и сила человека совпадают). *Non scholae, sed vitae discimus* (Мы учимся не для школы, а для жизни). Здесь же размещено: *Scientia nihil aliud est quam veritatis imago* (Знание – это не что иное, как отображение истины). На историческом факультете БГУ в читальном зале библиотеки размещены известные высказывания античных авторов: *Prima lex historia, ne quid falsi dicat. Cicero*. (Первое правило истории не допускать лжи); *Prius quam incipias opus est. Sallustius*. (Прежде чем начать, обдумай); *Primum discere, deinde docere* (Сначала учиться самому, потом учить других). Латинское выражение размещено на гербе Лицея БГУ: *Summa cum laude* (С высшей похвалой). Афористику медицинского содержания можно встретить в Минском госу-

дарственном медицинском университете, на здании центральной аптеки города Минска: *Non est super salutem corporis* (Здоровье – самая большая ценность) и *Mens sana in corpore sano* (В здоровом теле здоровый дух); с правой: *Medicina fructuosior ars nulla* (Нет более полезного искусства, чем медицина).

На «Нулевом километре», размещенном на Октябрьской площади, начертано: *Via est vita* (Дорога – это жизнь).

В наше время встречаются даже эпитафии на латинском языке: *Littera scripta manet* (Написанное остается).

Исследование латиноязычных инскрипций на материальных объектах города Минска показало, что античная культура оказала и продолжает оказывать большое влияние на культуру Беларуси. Надписи создавались не просто так. Каждая надпись неразрывно связана с тем архитектурным сооружением, на котором она начертана. Она является проявлением исторической жизни страны.

Ранний этап эволюции морфонологических систем

Н. И. ДАНИЛИНА (САРАТОВ)

Морфонология как система фонетических средств выражения грамматических значений возникла, по-видимому, еще в общеиндоевропейский период. Уже в праязыках отдельных групп индоевропейской семьи исследователями фиксируются хорошо развитые системы звуковых чередований, не обусловленных фонетическими факторами. Предметом настоящей статьи является специфика эволюции словоизменяющей морфонологии в языках нескольких ветвей индоевропейской семьи (славянской, германской, романской и греческой), которую мы предполагаем установить методом сопоставления синхронных срезов. В качестве исходного принимаем реконструируемый общеиндоевропейский срез, конечного – праязыки отдельных групп или близкие к ним из письменно засвидетельствованных: праславянский, готский, древнегреческий (аттический диалект), латинский. Поскольку морфонологические явления имеют две стороны: формальную и содержательную, – следует определить, какие из грамматических категорий имени и глагола могут получать морфонологическую маркировку и каковы конкретные способы этой маркировки.

Глагольная категория «вид-время», в индоевропейском нерасчлененная (оппозиция «презенс / аорист / перфект») и маркируемая чередованиями по аблауту, ни в одном из рассматриваемых языков не сохраняется в неизменном виде.

В готском, в связи с формированием единого претерита, морфонологическая значимость сохраняется за категорией времени, выражаемой, по-прежнему, аблаутными чередованиями. Классические примеры: *bind* / *band*, *steigan* / *staig*, *graban* / *grof*.

В латинском, напротив, морфонологически релевантной становится видовая оппозиция (инфект / перфект), причем наряду с количественным

аблаутом широко используются инновационные чередования, вызванные преобразованиями гласных в неначальных слогах. Примеры: *šīno / sīvi, lāvo / lāvi, ěmo / ěmi, fōdio / fōdi; pello / pepuli, accipio / accepi, caedo / cecidi, tango / tetigi*. Противопоставление по времени (презентс / имперфект, перфект / плюсквамперфект) выражается в латинском грамматическими средствами (аффиксально или аналитически).

В древнегреческом наблюдается не только грамматическая, но и морфонологическая дифференциация категорий вида и времени. Оппозиция «презентс / аорист / перфект» репрезентируется, в основном, рефлексамии индоевропейского аблаута и инновационными консонантными чередованиями – результатами процессов аспирации в перфекте 2и йотации в презентсе. Примеры: *τρέφω / ἐτρέφην / τέτρεφα, λείπω / ἔλπον / ἔλεοντα, ἄγω / ἤγα, λαμβάνω / εἴληφα, ὀρύττω / ὀρώρυχα, ἐτάγην / τάσσω, ἐκλάττην / κλέπτω*. В рамках презентного вида формируется оппозиция «презентс / футурум», связанная с морфонологическим закреплением результатов заместительного удлинения и йотации. Примеры: *σπένδω / σπεῖσω, σπεῶ / σπειρώ, σφαλῶ / σφάλλω, κλιῶ / κλίω, κλέπτω / κλέψω*. Данная оппозиция поддерживается также одним из явлений линейной морфонологии – наращением () в глаголах VII класса: *ἄχθομαι / ἄχθεσομαι, αἰρέω / αἰρήσω*.

Своеобразным распределением по формам видо-временной оппозиции обладают возникшие на собственно греческой почве линейные морфонологические явления. Таково, например, чередование *v/ø*, где *ø* возникает либо как результат упрощения сочетания + согласный, либо как рефлекс слоговости сонорного в определенных фонетических условиях (*α < v*): *κτενῶ, κτεῖνω, ἔκτονα / ἐκτάθην, ἔκταμαι; κλινῶ, κλίνω, ἔκλινα / κέλκλκα, κέλκλκα, ἐκλίμαι, ἐκλίθην^M* (футурум, презентс, аорист активного залога / аорист пассивного залога, перфект).

В праславянском значимость оппозиции «презенс / аорист» уменьшается (преобладают аористы, не знающие корневых чередований в пределах парадигмы). Формирующаяся оппозиция «система презенса / система инфинитива (включая перфект)» начинает связываться прежде всего с линейными морфонологическими характеристиками глагольной основы, которые могут сопровождаться консонантными или вокальными чередованиями. Примеры: *vedō / věšъ, bodō / bašъ* при *radō, radъ, myō, myěхъ; berō / byrati, pišō / pisati, znajō / znati, meljō / mlěti*.

В системах индоевропейского аориста и перфекта формы единственного числа активного залога могли противопоставляться остальным ступеням аблаута, поэтому категории числа и залога также можно отнести к морфонологически релевантным. Данные противопоставления лишь частично сохраняются в древнегреческом и готском. Так, древнегреческий перфект может иметь сильные формы только в активном залоге: *τέλεσσα / τέλεσσαί, /λέλοιπα / λέλειπαι*, см. также вышеприведенные примеры противопоставления активных и пассивных форм аориста чередованием *vō* (*ἔκτονα / ἐκτάθην, ἔλμνα / ἐκλίθην*). В готском противопоставление по числу реализуется только в претерите: *staig / stigun, baug / bugun, nam / nemun*.

В то же время залоговые отношения получают новую морфонологическую значимость в связи с включением в глагольную парадигму имен с суффиксами *-*to* и *-*no*, положивших начало категории страдательных причастий прошедшего времени. В готском данные образования вошли в систему аблаутных рядов, в праславянском маркировались инновационными консонантными чередованиями. В латинском средства противопоставления основ инфекта и супина особенно разнообразны: количественный аблаут, позиционные рефлексy индоевропейских сонорных, вокальные чередования, возникшие под действием сужения в неначальных слогах и как следствие рекомпозиции. Таким образом, можно полагать, что в ряде языков

морфонологическую значимость получила категория субстантивности («причастности»). Примеры: гот. *niman* / *numans*, *steigan* / *stigans*, *bindan* / *bundans*; лат. *sterno* / *stratum*, *gigno* / *genitum*, *pello* / *pulsum*, *colo* / *cultum*, *sĕro* / *satum*; праслав. *dvigati* / *dviženъ*.

Специфика праславянского языка заключается в том, что инновационные для морфонологии консонантные чередования (рефлексы йотации и палатализаций) маркируют совместно выражаемые глагольные категории числа и лица, противопоставляя формы 1 л. ед.ч. и 3 л. мн.ч. остальным формам презентной парадигмы: *bĕgō* / *bĕžiši*, *stŕjō* / *stŕiši*.

Из грамматических категорий имени к позднему индоевропейскому периоду стабилизировались категории рода и числа, мнения же ученых относительно содержательного наполнения категории падежа, количестве падежей и характере их противопоставления расходятся. Тем не менее, именно оппозиции падежных (или «протопадежных») форм обладают морфонологической значимостью, т.к. могут сопровождаться чередованиями. Чередование корневого гласного, противопоставляющее основы «сильных» и «слабых» падежей, встречается в основах на носовой и на -s, где оно сохраняется в так или иначе преобразованном виде всеми исследованными языками. Примеры: лат. *nomen* / *nominis*, *genus* / *generis*, гот. *namo* / *namins*, праслав. *imę* / *imene*, *nebo* / *nebesē*, древнегреч. *χελιδών* / *χελιδόνος*, *ὄνομα* / *ὀνόματος*, *γένος* / *γένους*. Регулярные морфонологические явления в системе имени представляли также качественное чередование «тематического гласного» и, возможно, гетероклитическое склонение (если рассматривать его как парадигму, что небесспорно). После распада индоевропейского единства в исследуемых языках происходит переразложение основ и присоединение рефлексов «тематического гласного» к флексиям.

В целом для раннего этапа эволюции морфонологических систем характерно специфическое развитие каждой ветви индоевропейской языковой семьи. Основные направления таковы:

«индоевропейский → готский»: морфонологическую значимость утрачивают глагольные категории залога и вида, приобретает категория субстантивности; фонологическим субстратом морфонологии продолжает оставаться аблаут, рефлекс которого преобразуется в соответствии с германскими фонетическими законами данного периода;

«индоевропейский → латинский»: из глагольных категорий морфонологическую релевантность сохраняет категория вида и приобретает категория субстантивности; аблаут как фонологический субстрат морфонологии редуцируется (представлен в незначительном числе лексем), основную функциональную нагрузку несут инновационные вокальные чередования, консонантные чередования и процессы линейного плана единичны;

«индоевропейский → древнегреческий»: категории вида и времени получают раздельное морфонологическое выражение, морфонологическую релевантность утрачивает категория числа и сохраняет категория залога; фонологическая база морфонологии складывается из рефлексов аблаута, инновационных вокальных и консонантных чередований (последние приобретают системный характер), явлений линейного плана;

«индоевропейский → праславянский»: морфонологическая нерасчлененность категории «вид-время» сохраняется, релевантность категории залога ограничивается субстантивными формами, в рамках категории числа приобретает значимость оппозиция лиц; фонологический субстрат морфонологии претерпевает кардинальное изменение, становясь из вокального преимущественно консонантным.

Дезидеративные глаголы в ведийском и санскритском языках

Д. В. ДИМИТРИЕВ (МОСКВА)

Среди всех индоевропейских языков ведийский язык представлен самой богатой системой наклонений. В ведийском языке восемь наклонений: индикатив, императив, субъюнктив, оптатив, дезидератив, кондиционалис, прекатив и инъюнктив. В санскрите число наклонений уменьшается до семи: индикатив, императив, оптатив, дезидератив, кондиционалис, прекатив, инъюнктив.

Наиболее сильно в этих языках представлены наклонения, выражающие намерение и желание. В ведийском желание может быть выражено субъюнктивом, оптативом, дезидеративом, прекативом и инъюнктивом. В санскрите число наклонений, выражающих желание, уменьшается до трёх: оптатива, дезидератива и прекатива.

Субъюнктив в ведийском может выражать желание говорящего, соотнесённое с другими обстоятельствами. В отличие от субъюнктива, оптатив выражает действия более автономного характера. Дезидератив, в отличие от других наклонений, употребляется только для выражения намерения и желания. В самхитах дезидеративы образуются только от 60 корней, в санскрите их число существенно возрастает.

Дезидеративные глаголы образуются с помощью прибавления к корню с удвоением суффиксов *sa* для глаголов *aniṭ* и *iṣa* для глаголов *seṭ* по следующей схеме: удвоительная часть + корень + суффикс + личное окончание.

Отличительной чертой дезидератива является то, что в удвоительном слоге появляется гласный *i*, кроме случаев, когда в корне находятся гласные *u, o, au* или корень начинается с гласного.

RV_01.170.02. kiṃ na indra jighāṃsasi bhrātaro marutastava

Зачем ты нас, О Индра! хочешь убить? Братья – Маруты твои.

Дезидеративы спрягаются как глаголы первого главного спряжения. Ряд глагольных корней образуют дезидеративы без удвоения. Например āp→ īpsati он хочет достигнуть, labh→ līpsate он намеревается получить, dā→ dītsati он желает дать.

От основы дезидератива могут быть образованы:

1. Простое будущее время и описательное будущее время: adhijigamiṣyāmi satyam я захочу достичь истины; mumūrṣitāse ты не захочешь умирать.

2. Описательный перфект: jīgnāsām sakāga он желал знать.

3. Аорист на iṣ: īrtṣis (из ṛdh) ты желаешь процветать.

4. Каузатив: jigamisayati: он должен желать идти.

5. Пассив: īpsyate он желает быть достигнутым.

6. Пассивное причастие прошедшего времени:

RV_01.036.15. pāhi rīṣata uta vā jighāṃsato bṛhadbhāno yaviṣṭhya

Защити от вредящего также или желающего убить, О ты, с высоким лучом, о самый юный!

7. Прилагательные на u: didṛkṣu желающий видеть

8. Существительные на ā: jīgīṣā желание победить

Дезидеративы встречаются редко – так, в третьей книге Махабхараты

(Mahābhārata: Aranyakaparvan) ДГ и их производные формы встречаются менее ста раз.

Литература

1. Красухин К.Г. Введение в индоевропейское языкознание. М. 2004
2. В.О. Миллер, О.И. Кнауэр. Руководство к изучению санскрита. С-Петербург 1891
3. В.А. Кочергина Санскрит. М. 2007
4. В.А Кочергина. Санскритско-русский словарь. М. 1987
5. А.А. Зализняк. Грамматический очерк санскрита. М. 1987
6. Т.Я. Елизаренкова. Грамматика ведийского языка. М. 1982
7. Mahābhārata Aranyakaparva
8. Ṛgveda -- Saṃhitā

Когнитивные исследования и проблемы исторической реконструкции языка

Л.П. Дронова (Томск)

Теоретический уровень современного языкознания и гуманитарных наук в целом, установки на междисциплинарность исследований, значительные успехи семантики позволяют ставить и решать вопрос о расширении исследовательского поля лингвистики, об интерпретационной лингвистике, и чаще всего в рамках когнитивной аспектации анализа языкового материала. Совершенно закономерно, что при этом появился живой интерес к историческим (этимологическим) реконструкциям, к диахроническим построениям, ведь «подлинный историзм связан с определением последовательности способов моделирования окружающего мира, насколько это отражается в истории лексики и, как частный случай, при создании новых слов» (В.Н. Топоров, 1960). То есть, в конечном счете, результаты интерпретационной лингвистики (каковой себя позиционирует лингвокогнитивистика) напрямую зависит от того, насколько основательны те синхронные и диахронные построения, на которые она опирается.

Лингвистическую ситуацию конца XX – начала XXI веков принято определять как имеющую ярко выраженное стремление интегративно представить сущность языка как динамической системы, своими средствами кодирующей смену представлений о культурных сущностях в их историческом развитии. Но это стремление к интегративному представлению сущности языка как развивающейся системы наталкивается на несоответствие в степени знакомства широкой лингвистической общественности, с одной стороны, со спецификой системно-структурного подхода к фактам языка и, с другой стороны, с особенностями исторической реконструкции, прежде всего, по отношению к семантике. В учебниках по языкознанию нет

разделов, посвященных исторической реконструкции, ее особенностям. И даже в определении диахронии как исторического развития языковой системы не подчеркивается специально, что диахроническое рассмотрение всегда связано с сопоставлением по крайней мере двух последовательных стадий (синхронных срезов) в системе языка (последовательных и потому культурно детерминированных). В условиях повышенного внимания к семантике в современной лингвистике особенно важна поэтапность («пошаговость», «послойность», как в работе археологов) реконструкции формы и значения языкового знака в диахроническом исследовании, нацеленном на определение исходного мотивирующего признака и его эволюции (вариативности реализации) в пределах историко-культурной обусловленности в родственных языках, следовательно, на определение основания результирующей когнитивной составляющей исследования.

В истории отечественной лингвистики еще в начале XX-го века известные компаративисты, в свою очередь, подчеркивали значимость метода, который В.А. Богородицкий назвал синхронно-диахроническим, отмечая, что сравнительно-историческое языкознание только тогда останется на высоте своих задач, если при сравнении не будет ограничиваться лишь древнейшими фактами каждого из сравниваемых языков и восстановление праязыка будет производиться с учетом относительной хронологии изучаемых явлений. Современные когнитивно ориентированные исследования, ведущиеся преимущественно с позиций синхронных представлений языковых фактов, при выходе на динамику связи языка и мышления (особенно если не учитывается третий фактор – культурная детерминация) часто спотыкаются о наследие эпохи конфронтации синхронных и диахронных подходов к языку – смешение фактов синхронии и диахронии (прежде всего в развитии семантики анализируемых единиц) и их культурную недетерминированность.

Несоблюдение поэтапности в реконструкции ведет к нарушению принципа системности по отношению к диахроническому исследованию, поскольку нарушается историко-культурная преемственность выделяемых для исследования синхронных срезов. Системность в диахронии иная, чем в синхронном срезе языка, – «пунктирная». Но она может быть упрочена за счет поэтапного учета генетических связей в рамках этимологического гнезда, позволяющего увидеть семантическую филиацию в определенной группе лексики в развитии. Этимологические словари в силу своей жанровой специфики не дают поэтапной, «послойной», картины семантической реконструкции, преимущественно линейно располагают значения родственных слов, не имея задачей последовательное разграничение их в хронологической иерархии, выделяя – в лучшем случае – в анализируемом материале противоположные по глубине образования – архаизмы и инновации, дают редукционную формально-семантическую реконструкцию. Кроме того, большинство историко-этимологических словарей составлялись до эпохи семантического бума.

Таким образом, только в рамках синхронно-диахронного исследования, опирающегося на анализ деривационных, синтагматических и парадигматических отношений в синхронии и на последовательное (поэтапное) восстановление исторической картины, можно получить глубокое динамическое представление определенного фрагмента языковой картины мира и увидеть изменения в его когнитивной составляющей. Получение коррелирующихся выводов синхронной и диахронной части анализа явится средством верификации диахронического построения.

К проблемам огузской морфонологии: процессы конца слова и генетическая классификация

А. В. ДЫБО (МОСКВА)

Реконструкция пра-состояний флективных языков включает в качестве существенного компонента исследование отношений между парадигматическими классами лексем. При том, что отсутствие парадигматических классов – одна из базовых характеристик агглютинативных языков, почти общепринято считать, что в агглютинативных языках не бывает внутри- и межпарадигменных процессов. Вследствие этого, процессы парадигматической унификации мало до сих пор интересовали тюркологов; однако очевидно, что эти процессы существуют и играют важную роль в истории языка. Мы уже обращали внимание на необходимость учета таких процессов при реконструкции показателей личного спряжения в праогузском (Дыбо 2006); теперь мы продемонстрируем несколько таких унификаций (морфонологических процессов) в фонологической истории огузских языков.

Изменение пратюркского консонантизма на пути к протоогузскому состоянию включало следующие упорядоченные процессы:

1) Зетацизм (возникновение *z* и *ʒ*) (общий для всех языков, кроме болгарской группы).

2) Озвончение *-t-* в инлауте перед звонкими смычными и сонантами в инлауте (процесс релевантен для огузского совместно с тобаскими языками, он должен был предшествовать переходу *-*d- > j* в инлауте).

3) Йотацизм (переход *-*d- > j* в инлауте; вместе с кыпчакскими и карлукскими языками).

4) **ɲ > j~* (отличный от кластера *jɲ*, одновременно *jɲ* совпадает с *jɲ*).

5) Фрикативизация $*b$ и $*g$ в интервокальной позиции и на конце слога. Возможно, одновременно $*agu > avi$.

Результирующая система (“ранний общеогузский”):

p	b	(v)	m	(или)	p	b/v	m			
t	(d)	s	Z		t	d/z	s	n		
$\check{c}$		$\check{s}$	J		$\check{c}$	j	$\check{s}$	$j\sim$	r	l
k	g	(γ)	η		k	g/γ	η			

В этой системе b и v дополнительно распределены: b в анлауте, v в прочих случаях; то же верно для d и Z , g и γ ; j существует в обоих типах позиций.

Падение $*\gamma$ на конце многослогов как общеогузский процесс должно было происходить на этом этапе.

Так называемое огузское озвончение после долгих гласных привело к возникновению звонких взрывных (не фрикативных!) в ин- и ауслауте. Система приняла следующий облик:

p	b		v	m		
t	d	s	Z	n		
$\check{c}$	$\check{Z}$	$\check{s}$	j	$j\sim$	r	l
k	g		γ	η		

Это -общеогузская система; с этого момента начинается дивергенция огузских языков. Кажется продуктивным интерпретировать основную ларингальную оппозицию системы в терминах слабости $\sim$ силы, а не звонкости $\sim$ глухости. Это позволяет объяснить сходство поведения смычных в конце однослогов, содержащих долгие гласные, и в конце многослогов. Объяснение – ослабление согласных на расстоянии более одной моры от

начальной интенсивности – предложено впервые в Иллич-Свитыч 1963. В таком случае система переписывается в следующем виде:

<i>p</i>	<i>B</i>		<i>v</i>	<i>m</i>		
<i>t</i>	<i>D</i>	<i>s</i>	<i>z</i>	<i>n</i>		
<i>č</i>	<i>Ž</i>	<i>š</i>	<i>j</i>	<i>j~?</i>	<i>r</i>	<i>l</i>
<i>k</i>	<i>G</i>	<i>γ</i>	<i>ŋ</i>			

Точную последовательность распада пра-огузского состояния на дочерние языки нельзя определить на наиболее очевидных чертах, учитываемых синхронной классификацией (поскольку процессы, приведшие к возникновению этих черт, не поддаются упорядочиванию).

Вот некоторые из таких процессов:

1) Унификация заднеязычных в анлауте слов с заднерядным вокализмом. Глухой (сильный) анлаут в турецком, гагаузском, афшарском, айналлу, хорезмско-огузских диалектах узбекского. Звонкий анлаут в части турецких диалектов, в частности, в северо-восточной Болгарии, в азербайджанском, кашкайском, туркменском. Другие языки и диалекты демонстрируют вариации неясной природы.

2) Изменение *ogi* > *ovu* (при том, что *ogu* сохраняется): гагаузский, туркменский, саларский; *ogi* сохраняется в турецком и азербайджанском.

*-ogi-

ПГ **sogi-k* 'холодный': др.-тюрк. *soyïq* (др.-уйг.), *soyïq* (QB), тур. *soğuk*, гаг. *sūq*, аз. *sojuG*, турк. *sowuq*, сал. *soχ*.

*-ogu-

ПГ **jog-urt* 'кислое, свернувшееся молоко': др.-тюрк. *jōyrot*, *jūyūt*, *jūyūt* (др.-уйг.), *jūyūt*, *jōyurt* (МК), тур. *jōyurt*, гаг. *jūrt*, аз. *jōyurD*, туркм. *jōyurt* (диал.).

3) В турецком и азербайджанском имеется особая фонема, которая встречается – что касается исконных морфем – только в корне вопросительных местоимений (*h-*).

4) Туркменский сохранял назализованный *j~* дольше других языков и даже получал вторичный *j~* из кластеров.

5) Западные, южные и северные диалекты азербайджанского, сонкорский, туркменский (часть диалектов), хорезмский огузский и саларский сделали фрикативными новые звонкие губные взрывные (полученные в результате огузского озвончения) в интервокальной позиции (ср. салар. *çüin* 'муха' (**çpīn*), *jōva* 'вилы' (**jāpa*)).

Лучшую возможность для исторической классификации может дать фрагмент истории языка, в котором результаты некоторых процессов были изменены воздействием других процессов (т.е. включающий упорядоченные правила). Именно так устроены процессы предпаузного (конечного) и интервокального развития взрывных в морфонологическом конце слова.

Во всех огузских языках происходили сходные процессы: озвончение интервокальных слабых, оглушение конечных слабых, фрикативизация звонких, фрикативизация глухих заднеязычных, исчезновение признака "долгота гласного". Но в разных языках какие-то из этих процессов проходили в разном порядке или вовсе отсутствовали. Вопрос состоит в том, какие из языков могли пройти через некоторую последовательность этих процессов вместе, а какие не могли. Это можно показать, если удастся обнаружить общие единицы, которые должны быть унаследованы из некоторого общего узла на древе порождающих правил.

Ниже следует фрагмент такой демонстрации, построенный на примере поведения заднеязычных на конце именной основы. К сожалению, этот фрагмент может быть адекватно изучен для каждого идиома только

при наличии словаря, содержащего информацию о синхронном морфонологическом поведении основ, так что наша классификация вынужденно ограничивается литературными языками.

Рассмотрим поведение рефлексов общетюркских слов, оканчивающихся на заднеязычный, в этих языках.

Пратюркский	Турецкий	Гагаузский	Туркменский	Азербайджанский
* <i>čāk</i> 'время'	çağ, Acc.	(Только наре-	čāγ, Acc. čāγi	čay, Acc. čayı
* <i>tūk</i> 'пух'	çağı	чие <i>čāk</i>)	tūj, -jü	tük, -kü
* <i>tēk</i> 'дно'	tūj, -jü	tū, -jü	tej, -ji	-
* <i>gōk</i> 'синий,	-	-	gōk, -γü	gōj, -jü
небо'	gök, -ğü/kü	gök, -kü	āq, -γi	ay, -γı
* <i>āk</i> 'белый'	ak, -kı	ak, -kı	jōq, -γi	jox, -xa
* <i>jōk</i> 'ничто'	jok, -ğü/ku	jok, -ku	tāk, -γi	tāk, -ki
* <i>tāk</i> 'непарный'	tek, -ki	tek, -ki	jāq, -γi (диал.)	-
* <i>jāk</i> 'сторона'	-	-		
* <i>čok</i> 'много'	čok, -ğu	čok, -ju	čoq, -qa	čox, -xu
* <i>pok</i> 'навоз'	bok, -ku	bok, -ku	boq, -qi	-
* <i>ok</i> 'стрела'	ok, -ku	ok, -ku	oq, -qi	ox, -xu
* <i>Kak</i> 'сухой'	kak, -kı	kak, -kı	Gaq, -qi	Gax, -xı
* <i>kök</i> 'корень'	kök, -kü	kök, -kü	kök, -ki	kök, -kü
* <i>jīk</i> 'веретено'	iğ, Acc. iği	ī, -ji	īk, -γi	ij, -ji
* <i>čij-ik</i> 'мокрость'	čig, Acc. čigi	či, -ji	čγ, Acc. čγi	čij, -ji
* <i>bīdik</i> 'усы'	bıyık, bıyığ	bijik, bijī	mijq, mijqi (диал.)	brıy, brıy
* <i>soyık</i> 'холо-	soğuk, -ğu	sūk, -ku	sovuq, -γu	sojuG, -γu
дный'	kulak, -ği	kulak, kulā	Gulaq, -γi	kulaG, -γı
* <i>kulıyak</i> 'ухо'	erik, -ği	erik, eṛi	erik, -γi	ärig, -ji
* <i>erük</i> 'абрикос'				

Как объясняются представленные рефлексы из праформ?

Можно предложить объяснение всех форм для каждого языка с помощью определенной последовательности фонетических и морфонологических процессов.

Самый простой случай – туркменский язык.

Туркменский:

1. Ослабление сильных после долгого гласного и второго слога.

*āG, *soɣĩG

2. Озвончение слабых в интервокальной позиции

*āg-ĩ, *soɣĩg-ĩ

3. Оглушение слабых на конце слова

*āk, *soɣĩk

Возникает чередование в парадигме склонения: *āk – *āgĩ под.

4. Фрикативизация звонких заднеязычных в интервокальной позиции

*āɣ-ĩ, *soɣĩɣ-ĩ.

Теперь у нас получились следующие, так сказать, типы склонения:

a) *dāɣ – *dāɣĩ ('гора')

c) *āk – *āɣ ('белок')

b) *aɣ – *aɣɣ ('сеть')

d) *čok – *čokĩ ('множес-

тво')

Типов ⁰āk – ⁰ākĩ и ⁰čok – ⁰čogĩ не существует (так же, как и ⁰aziɣ – ⁰aziɣĩ, поскольку у последней основы уже отпал конечный *ɣ; *azi).

5. Срабатывают парадигматические унификации, и некоторые из слов типа c) переходят в тип a): čāɣ – čāɣĩ, tūj, -jũ, tej, -jĩ. Поскольку долгота гласного как фонологический признак в туркменском сохраняется, условие, различающее слова типов c) и d), остается, и их унификация невозможна, поэтому не возникает форм типа ⁰gōk – ⁰gōkũ, ⁰āq – ⁰āqĩ.

5'. В некоторый момент в туркменском проходит переход $*-jji- > \bar{i}$, $*-jji- > \bar{e}$, так возникают слова *ik*, *-γi* и *ind* $*\check{c}ik - *\check{c}i\gamma\bar{i}$. Это должно было происходить до унификаций, поскольку последнее затем изменилось в $\check{c}i\gamma - \check{c}i\gamma\bar{i}$.

Любопытно, что ситуация в турецком может объясняться способом, очень похожим на объяснение туркменского.

Турецкий

1. Ослабление сильных после долгого гласного и второго слога.

$*\bar{a}G, *so\gamma\bar{i}G$

2. Озвончение слабых в интервокальной позиции

$*\bar{a}g-i, *so\gamma\bar{i}g-i$

3. Оглушение слабых на конце слова

$*\bar{a}k, *so\gamma\bar{i}k$

Возникает чередование в парадигме склонения: $*\bar{a}k - *\bar{a}gi$ и под.

4. Фрикативизация звонких заднеязычных в интервокальной позиции

$*\bar{a}\gamma-i, *so\gamma\bar{i}\gamma-i$

У нас получились те же самые типы склонения:

a) $*d\bar{a}\gamma - *d\bar{a}\gamma\bar{i}$ ('гора')

c) $*\bar{a}k - *\bar{a}\gamma\bar{i}$ ('белок')

b) $*a\gamma - *a\gamma\bar{i}$ ('сеть')

d) $*\check{c}ok - *\check{c}oki$ ('множес-

тво')

Типов ${}^o\bar{a}k - {}^o\bar{a}ki$ и ${}^o\check{c}ok - {}^o\check{c}ogi$ здесь также не существует.

5. Срабатывают парадигматические унификации, и некоторые из слов типа c) переходят в тип a): $\check{c}a\gamma - \check{c}a\gamma\bar{i}$, $t\bar{u}j - j\bar{u}$. Можно предполагать, что до сих пор развитие обоих этих языков шло вместе.

5'. Дальнейшее развитие событий требует предположить разделение языков. В турецком также наблюдается развитие $*-jji- > \bar{i}$, $*-jji- > \bar{e}$, но

затем **ik*, -*γi* и **čik*, -*γi* оба претерпевают унификацию: *iğ*, Асс. *igī*, *čig*, Асс. *čigī*.

6. Затем падает долгота гласных, условие, различающее с) и d), пропадает.

7. Теперь происходит унификация типов с) и d), откуда возникают *gök*, -*ğü/kü*, *ak*, -*ki*, *jok*, -*ğu/ku*, *tek*, -*ki* с одной стороны, и *çok*, -*ğu* с другой стороны.

Гагаузский

8. Гагаузская ситуация демонстрирует состояние развития, наследующее современному литературному турецкому. А именно, пройдя через общую стадию 7, гагаузский стягивает старые комплексы с интервокальным **γ*, и эти слова становятся однослогами. Потеря первичной долготы, видимо, происходила раньше, так что они сохраняют вторичный долгий гласный, но, будучи однослогами, эти слова подпадают под последнюю унификацию, захватывающую все однослоги с глухим последним согласным. Так мы получаем *sūk*, -*ku* при *kulak*, *kulā*.

Азербайджанский

Азербайджанская ситуация может быть описана следующей последовательностью процессов:

1. Ослабление сильных после долгого гласного и второго слога.

**āG*, **soγīG*

2. Озвончение слабых в интервокальной позиции

**āg-ī*, **soγīg-ī*

3. Фрикативизация звонких заднеязычных в интервокальной позиции

**āγ-ī*, **soγīγ-ī*.

Возникают следующие "типы склонения":

- a) **dāγ* – **dāyi* ('гора'), b) **bāγ* – **bāyi* ('начальник'),
 c) **āG* – **āyi* ('белок'), d) **tāG* – **tāyi* ('непарный'),
 e) **čok* – **čöki* ('множество'), f) **kök* – **köki* ('корень'),
 g) **bukaG* – **bukaï* ('зоб'), h) **erüG* – **erüyi* ('абрикос')

4. Затем происходит унификация части основ из c) (с переходом в тип a) и из d) (с переходом в тип b). Так мы получаем *aγ*, *-γu* и *gōj*, *-jü*. Заметим, что списки основ, перешедших в другой тип и оставшихся в своем типе существенно отличаются от турецко-туркменских. Это предполагает, что ко времени протекновения процесса эти группы языков не составляли общего узла на генеалогическом древе. То же самое предполагается развитием **bīdīk* 'усы' которое только в азербайджанском становится однослогом и подвергается той же унификации (таким образом, **-jji-* > *ī*, **-jji-* > *ī*, **īdī* > *ī*, так появляются *jī*, *-jī*, *čjī*, *-jī*, *bṛj*, *bṛjī*).

5. Теперь развитие *tūk*, *-kü*, *tāk*, *-ki* и *jox*, *-xa* (*čixmaG*) можно объяснить, предположив следующую последовательность процессов:

A. Оглушение (усиление) слабых заднеязычных взрывных в конце односложных слов

**āk*, **jök*, **tāk*, **gök*

B. Падение долготы гласных

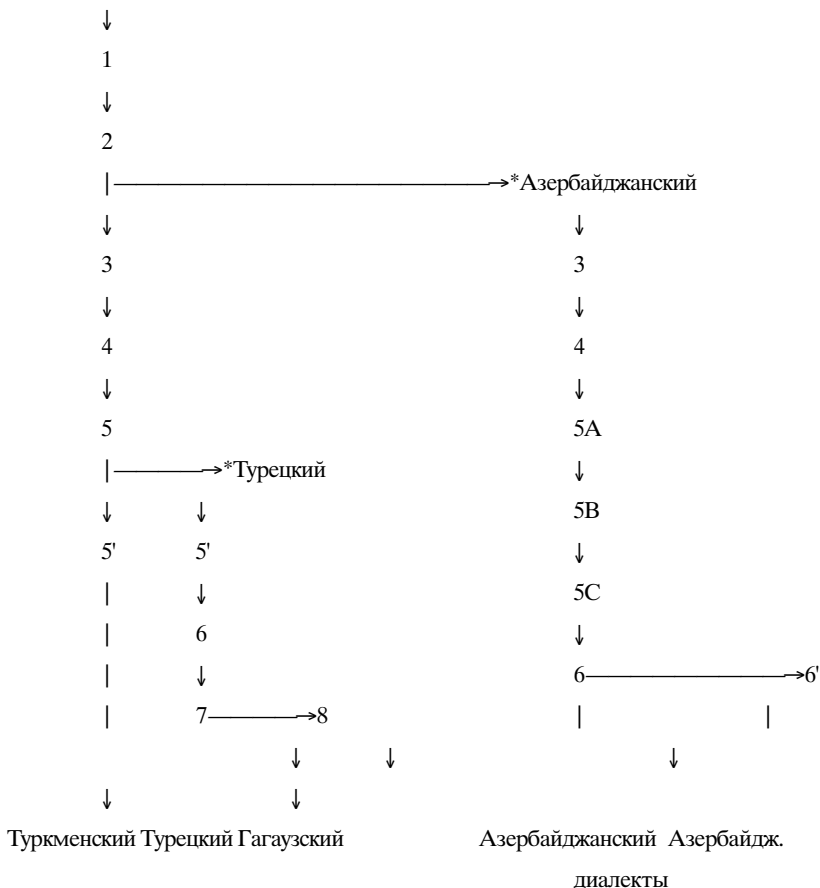
C. Унификация основ из c) (с переходом в e) и d) (с переходом в f):
 возникают *tūk*, *-kü*, *tāk*, *-ki*, **jok*, *-ki*

6. Фрикативизация сильных заднеязычных в словах с заднерядными гласными (что не могло предшествовать C.) – это позднейший процесс, что доказывается, в частности, различным поведением соответствующих единиц в разных азербайджанских диалектных группах (NB: выделяется по поведению восточная диалектная группа, которая должна быть отнесена к турецкому типу).

Продемонстрированные последовательности развития, в частности должны показывать, что традиционный взгляд на классификацию огузских языков может быть расширен при учете возможности, что некоторые процессы, общие для турецкого и туркменского языков, отделяют эти языки от азербайджанского.

"Генеалогическое древо" огузских языков

Общеогузский



Балтославянская акцентология и германская геминация согласных. (В защиту теории Ф. Клуге)

В.А. ДЫБЮ (МОСКВА)

Теория Ф.Клуге (см. *F.Kluge. Die germanische Consonantendehnung. // PBB, Bd. IX, S. 149-186*) по формулировке К. Бругмана заключается в следующем: «В прагерманском в эпоху индоевропейского ударения перед ударным гласным группы согласных в интервокальной позиции: *bn, dn, zn*, возникшие из и.-е. *pn, phn, bhn, tn, thn, dhn, kn, khn, ghn* перешли в *b̥b̥, d̥d̥, z̥z̥*, а затем в *bb, dd, gg*, в той же позиции также группы *bn, dn, gn* (пра-и.-е. *bn, dn, gn*) перешли в *bb, dd, gg*. Эти удвоенные звонкие смычные затем одновременно с праиндоевропейскими простыми звонкими перешли в *pp, tt, kk*. После согласных и долгих гласных геминаты упрощались» (*K. Brugmann. Grundriß der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen, Bd. I, S. 383-384*).

Однако акцентуационная позиция действия правила Ф.Клуге не была надежно установлена – было очень мало непосредственных сближений с акцентными соответствиями, одиночные имена с альтернативными толкованиями:

1. др.-англ. *friccā (friccea)* m. 'Herold, Ausrufer' (< **prekñién-** 'Fragemann') ~ др.-инд. *praśnín-* m. 'Fragesteller'.

2. герм. **lukkaz* m. 'пучок волос, локон' [др.-исл. *lokkr* m. 'Haarlocke'; др.-англ. *locc*, др.-фриз. *lokk*, др.-в.-нем. *loc*] ~ лит. *lūgnas, -à* adj. (4) 'гибкий, подвижный', но *lūgnai* adv.

Случай, когда акцентологические данные отсутствуют, но возможно сочетание смычного с *-n-*:

3. др.-исл. *stakkr* m. 'Heuschaber' (< **stǣknó-s*) ~ лат. *stagnum* n. 'выступившая из берегов вода: озеро, пруд, болото, лужа'.

Такая ситуация вызвала попытку отказаться от теории Ф. Клуге и объяснять германскую геминацию согласных с помощью гипотезы об особом слое аффективной лексики в индоевропейском, которая изначально характеризовалась геминацией согласных (Р. Траутман, В. Висман, А. Мартине). Эта гипотеза не опирается на какие-либо реальные данные и фактически выражает лишь отказ от сравнительно-исторического исследования германской геминации согласных

Реконструкция балтославянской акцентной системы и установление парадигматического выбора акцентных типов в германском глаголе (см. Дыбо 2010) позволяет в настоящее время значительно увеличить материал, акцентологически значимый для сравнительно-исторического изучения протогерманской просодической системы. В результате проведенного сравнения удастся установить акцентный тип большого числа глаголов с геминацией (окситонеза) и значительного числа глаголов, сохранивших в основе сочетания индоевропейских смычных с *-л-* (баритонеза). В германском как и в славянском выделяется класс *-лнх*-оативов, в котором первично рецессивный корень получал вторичную доминантность.

-лл-глаголы > глаголы с геминацией смычных

У двадцати германских глаголов с геминацией смычных, опираясь на балто-славянские и кельто-италийские (в основном латинские) данные, удастся установить акцентуационную валентность корня: она оказывается рецессивной. Шесть из этих глаголов имеют непосредственные соответствия в славянском: *-лq*-глаголы а.п. *с*, восходящие к индоевропейским *-пеу*-глаголам. Восемь глаголов имеют в балтийском соответствующие им первичные глаголы подвижного акцентного типа, что устанавливается по прерывистой интонации в латышском и по балтославянской метатонии. У

шести глаголов рецессивная доминантность корня устанавливается по образованию сигматического претерита в латинском.

А.п. с производных -п-глаголов.

1. герм. **bakka-* < **ḡaknā-* [др.-сакс. *bakkan* 'backen' (Freck., St.P.), др.-в.-нем. *backan*, ср.-н.-нем. *backen* ~ др.-англ. *bacan* (*bocan*, *basen*) 'backen'; др.-в.-нем. *bahhan*, *bacchan* (*bachu*, *buoh*, *buochunt*, *gibachan*) 'backen';] ~ слав. **bagnōtī*, praes. 1.sg. **bāgnō*, 3.sg. **bagnēt̃* [укр. *прибагну́ти* 'иметь, возыметь странное желание' (Желех.), *забагну́ти* 'пожелать, захотеть' (Гринченко) (*бага́* 'жажда'), *збагну́ти*, praes. 1.sg. -ну́, 2.sg. -не́ш 'постичь, проникнуть, догадаться, вспомнить' (Гринченко); 'осагити, зрозуміти', чеш. *bahnouti* 'жаждать, вожделеть' (Kott I, 42), (*bagnul*: *bagl*), слов. диал. *bahnút* 'pragnąć, pożądać, tęsknić'; польск. диал. *zabagnąć* (*się*) 'zachcieć (*się*)'] ~ слав. **bažeti* / **bažati*, praes. 1.sg. **bāžjō*, 3.sg. **bažīt̃* [русс. диал. *бажеть*, -жу́, -жишь 'очень хотеть, сильно желать чего-нибудь (иногда из прихоти); просить' Вят., Ярослав., Костр. (СРНГ 2: 46); польск. диал. малопольск. praes.3.sg. *zabazy śe*, praet. (Ipart. n.) *śe...zabaz' iyo*, *zabaz' iyo mi śe* (Kucala 238)]; греч. φύγω 'rōsten, braten' || Holthausen AEEW 14; Braune 312 (§ 347, Anm.4); Seebold 87-88; Фасмер I, 104-105; Berneker I, 38; Frisk II, 1057.

2. герм. **xikka-* < **xīgnā-* [др.-исл. *hikka* 'schluchzen, stark nach Luft schnappen, unsicher und ruckweise treten, wie mit einem kranken Fuß, stotternd und mit Wiederholungen sprechen', норв. диал. *hikka*, швед. *hicka* 'schlucken haben', датск. *hikke* 'einen Schlucken haben'; н.-нем. *hikken*, нидерл. *hikken* 'einen Schluckauf haben, schluchzen' ~ ср.-н.-нем. *hīgen* 'schwer atmen'; др.-англ. *hīgian* 'спешить, напрягаться, стремиться'] ~ слав. **šignōtī*, praes. 1.sg. **šignō*, 3.sg. **šignēt̃* [русс. *сигну́ть*, praes. 1.sg. *сигну́*, 3.sg. *сигнёт̃* 'прыгнуть, скакнуть'; блр. *сігану́ць*, -ну́, -не́ш, -не́, -нём, -няце́, -ну́ць]; др.-инд. *śighrás*

‘скорый, быстрый’ || Фасмер III, 618; WP I, 363; Pok. 542-543; Wißmann 174; Holthausen AEEW 160; Mayrhofer III, 340.

3. герм. **likka-* < **liqnā-* [др.-англ. *liccian* ‘лизать’, др.-сакс. *likkōn*, др.-в.-нем. *leckōn* ‘лизать’ ~ гот. *bilaigōn* ‘облизывать’; др.-в.-нем. *lehhōn* ‘лизать’] ~ слав. **lъznŭti*, praes. 1.sg. **lъznŭ*, 3.sg. **lъznětŭ* [русск. *лизнѹть*, praes. 1.sg. *лизнѹ*, 3.sg. *лизнѣт*, для первичной ступени вокализма ср. схрв. *lāznuti*, praes. 1.sg. *lāznēm* ‘лизнуть’; словц. *liznút’* ‘лизнуть, -ёт’ ~ словц. *lízat’* ‘лизать’]; лит. *liẽžti*, praes. 1.sg. *liežũ* ‘лизать’, интенсив: *laižyti*, praes. 1.sg. *laižau* ‘лизать’; лтш. *lāizīt* ‘лизать’; лат. *lingō, līnxi, līnctum, lingere* ‘lecke’; греч. *λεῖχω* ‘лижу’, *λινγεύω* ‘лакомлюсь, облизываю’, ‘belecke’; армян. *lizem, lizanem* ‘лижу, пожираю’ || Фасмер II, 494-495; Fraenk. I, 369; WH I, 806; Джаукян 43, 56, 162, 171.

4. герм. **lukka-* < **luqnā-* [др.-исл. *lokka* ‘locken’; др.-англ. *loccian* ‘locken, besänftigen’, ср.-н.-нем. *locken*, др.-в.-нем. *locchōn*, ср.-в.-нем. *locken* (swv.) ‘locken, anlocken, verlocken mit ap.; mit dat. durch Lockspeise, Lockkruf anlocken’ ~ гот. *liugan* ‘лгать’; др.-исл. *ljūga*, др.-англ. *lēozan*, др.-фриз. *liāga*, др.-сакс. *liogan*, др.-в.-нем. *liugan, leogan* ‘lügen’] ~ слав. **lъgnŭti*, praes. 1.sg. **lъgnŭ*, 3.sg. **lъgnětŭ* [русск. *прилгнѹть*, praes. 3.sg. *прилгнѣт*, болг. диал. *облъгна* ‘излъжа се’ (Долновардарско), *лѡгнувам* ‘лъжа по малко, поизлъгвам; измамвам някого да падне’ (Широколышки район); схрв. (XVIв.) *lāgnuti, -ēm* (в народной песне: *Lagneš mi, lagneš kako huda glava, ja ti sam hrabra i od prijē znala* RJA V, 873); словен. *legniti* (*kedar megne, tedaj legne C.* (Pl. I, 506)) ~ болг. praes. 1.sg. *лъжа*, диал. *лѣга* ‘лъжа’, 2.sg. *лъжеш* (Бургаско); схрв. *lāgati*, 1.sg. *lāžēm* (Vuk); словен. *lāgati*, 1.sg. *lāžem* ‘lügen’]; лит. *lūgŭti* ‘bitten’, лтш. *lūgt*, praes. 3. *lūdz*, praet. 3. *lūdza* ‘просить; приглашать’ Андронов 2002: 104; *lūgt*, praes. 1.sg. *lūdzu* ‘bitten, flehen, beten’ Mühl.-Endz. II, 517-518 || Orel 250; Fraenk. 389; Feist 334 и 333; БЕР 3: 537, 542; Skok II, 260.

5. герм. **skuppa-* < **skuþnā-* [др.-исл. *skoppa* ‘zum Narren halten’, норв. *skuppa* ‘schütteln, stoßen’, др.-швед. *skoppa, skuppa* ‘springen, laufen’ ~

гот. *af-skiuban* 'отвергать'; др.-в.-нем. *scioban* 'двигать'; др.-исл. *skúfa* 'двигать, толкать'] ~ слав. **skubnǫti*, praes. 1.sg. **skûbnǫ*, 3.sg. **skubnětъ* [русс. диал. *скубнѹть* СРНГ 38: 172, 171; укр. *скубнути*, *бнѹ*, *нѣш* (однокр.) 'дернуть, рвануть' (Гринченко); чеш. *škubnouti* 'дернуть' ~ русск. диал. *скуб-ти́*, *скубсти́*, *ску́сть*, praes. 1.sg. *скубѹ*, 3.sg. *скубѣт*, укр. *ску́бсти*, praes. 1.sg. *скубѹ*, 2.sg. *скубѣш*, (угор.) *ску́бти*, praes. 1.sg. *ску́бу*, 2.sg. *скубѣш* (Гринченко); болг. диал. praes. 1.sg. *скубѣ*, 3.sg. *скубѣ* (Банат), praes. 1.sg. *скубѣм* (Ново Село Видинско); схрв. *ску́псти*, praes. 1.sg. *ску́бѣм* 'рвать, дергать, щипать'; словен. *skúbsti*, praes. 1.sg. *skúbem* 'rupfen'; др.-чеш. *skústi*, praes. 1.sg. *skubu*, ст.-польск. (XVI-XVII в.) *skuść*, praes. 1.sg. *skube*, итеративная основа с «метатонией»: укр. *скублѹ*, praes. 1.sg. **ску́бле*; болг. *ску́бѣ*, польск. *skubać*, praes. 1.sg. *skubieć*; лит. *skùbti*, praes. 1.sg. *skumbù*, praet. 1.sg. *skubaũ*, *skubėti*, praes. 1.sg. *skubù* 'спешить, торопиться'; др.-инд. *kṣubhnōti*, *kṣubhnāti* 'качается, дрожит' || Фасмер III, 660; БЕР 6: 806-807; Стойков 1968; Brückner 498.

6. герм. **strukka* < *struknā* - [др.-англ. *stroccian* 'streichen', ср.-в.-нем. *strocken* 'straucheln' ~ др.-исл. *striúka* 'streichen, abwischen, schnell gehen, sich fortmachen'; др.-в.-нем. *strûchon*] ~ слав. **strugnŭti*, praes. 1.sg. **strûgnǫ*, 3.sg. **strugnětъ* [русс. *стругнѹть*, *соствругнѹть*, укр. *стругнути*, *гнѹ*, *нѣш* 'стругнуть; убежать, умчаться; ударить; отпалить, выкинуть, отколоть штуку, коленце'; схрв. *strûgnuti*, praes. 1.sg. *strûgnēm*, слов. *struhnúť* k *strúhat'* (význ.: hovor. expr. 'robit', vytvárat'); hovor. expr. 'udriet', seknút', fl'asnút'; hovor. expr. 'hodit', šmarit' ~ др.-русс. стрѣгати, praes. 1.sg. стрѣжю, совр. русск. *стрѣгать*, *стругать*, -ѣю, схрв. *стрѹгати*, praes. 1.sg. *стрѹжѣм*, словен. *strúgati*, praes. 1.sg. *strúžem*, чеш. *strouhati*, слов. *strúhat*]; греч. στρεῦομαι 'изнуряюсь, обессиливаю, чахну, худею'; ? лтш. *strūgaĩns* 'полосатый' (удлинение по закону Винтера?) || Фасмер III, 779; Trautmann BSW 288-289.

А.п. с производящих глаголов.

(по славянским и латышским показаниям,
акцентуационных валентностей глагольных корней)

7. герм. **brukka*- < **bruknā*- [ср.-н.-нем. *brocken* 'brocken, zerbröckeln, einbrocken', ср.-в.-нем. *brocken* 'brocken, zerbröckeln ~ гот. *brikan*, praes.3.sg. *brikþ* 2 Т 2,5, praet.3.sg. *brak* G 1,23, -, *brukans* (в part.praet. sg.n. *ga-brukano* 1 K 11,24) 'κλᾶν, brechen, πορθεῖν, zerstören'; др.-англ. *brecan*, *bræc*, *bræcon*, *brocen* 'brechen, zerbrechen, zerreißen, zerstören, unterdrücken; einbrechen, erobern; bersten', др.-фриз. *breka*, *brek*, *brēkon*, *bretsen*, др.-сакс. *brekan*, *brak*, *brākun*, - *brokan*; др.-в.-нем. *brehhan*, *brah*, *brāhun*, *gibrohhan*] ~ лтш. *brāzt*, praes. 1.sg. *brāžu*, praet. 1.sg. *brāzu* Kr., Kl., Salisb., Ermes, Muremois, Stockm., C., PS., Warkhof (но также *brāzt* Bl., Bächhof, Grüwald); лит. *bróžti* 'wischen, streifen, hingleiten, kratzen, schrammen, ritzen', 'оцарапать'; интенсив: *brōžyti*, *brėžti*, praes. 1.sg. *brėžiu* 'чертить; царапать; чиркать' (в балтийских языках удлинение по закону Винтера); лат. *frangō*, *frēgī*, *fractum*, *frangere* 'breche, zerbreche; beuge, erschüttere'; др.-инд. (RV X, 68,1) *giri-bhrāj*- 'aus Bergen hervorbrechend' || Feist 105; WH I, 541; Fraenk. I, 56-57; Holthausen AEEW 33; Seebold 132-135.

8. герм. **bukka*- < **buknā*- [др.-фриз. *buckia* 'sich bücken'; ср.-нидерл. *bocken*, *bucken* 'sich bücken, unterwerfen', нидерл. *bukken*, ср.-н.-нем. *bucken* 'sich neigen, sich bücken'; ново-нем. *bucken* 'bücken, sich beugen, sich krümmen, sich schmiegen', ср.-в.-нем. *bocken* 'niedersinken, (*tr. und refl.*) niederlegen' ~ гот. *biugan* 'κῠμπτεῖν', 'beugen'; др.-в.-нем. *biogan* ~ др.-сакс. *būgan* 'sich beugen', ср.-н.-нем. *būgen* 'beugen, verbiegen, sich biegen, ausweichen; др.-англ. *būgan*] ~ лит. *búgti*, лтш. *būgnums* Mar. 'Angst, Furcht' (Endz.-Hauz. I, 257); др.-инд. *bhujāti* 'biegt'; греч. φεύγειν, лат. *fugere* 'fliehen' || EWD I, 167-168; WH I, 556-557; Trautmann BSW 39.

9. герм. **xnippra-* < **xnipnā-* [др.-исл. *hnippra* 'stoßen, stechen', швед. *nippra* 'coire'; ср.-англ. *nippen* 'kneifen, klemmen'; нем. диал. (бав.) *nipfen* 'nippen' (нем. *nippen* 'пить маленькими глотками' из н.-нем.); нидерл. *nippen* 'nippen'] ~ лит. *knibtī*, praes. 1.sg. *knimbū*, praet. 1.sg. *knibaū* (praes. < **knibnā-*); лтш. *kniēbt*, praes. 1.sg. *kniēbju*, praet. 1.sg. *kniēbu* 'kneifen, zwicken'; лтш. *knaibīt* 'wiederholt kneifen, zukneifen'; греч. *κνίλω, σκνίλλω* 'schaben, schneiden, kneifen' || Pok. 562; Fraenk. I, 277-278; EWD II, 1171-1172; de Vries 243; Frisk I, 885-886.

10. герм. **wippra-* < **wipnā-* [поздне др.-исл. *vippra* 'schwingen', исл. *vippra* 'wippen, schwingen', норв. *vippra* 'hin und her laufen, schlingen, flechten', швед. *vippra*, датск. *vippe* 'schaukeln'; ср.-англ. *wippen* 'zittern, mit den Flügeln schlagen'; ср.-н.-нем., ср.-нидерл. *wippen* 'schaukeln'; др.-в.-нем. *wipphōn* 'hin und her laufen' ~ гот. *weipan* 'bekränzen'; ср.-н.-нем. *wipen* 'schleudern'] ~ лтш. *viēbt* 'sich drehen'; лат. *vibrō, -āvi, -ātum, vibrāre* 'setze in zitternde Bewegung; bewege mich zitternd' || de Vries 667; Karulis 1155; WH II, 780; Pok. 1132.

11. герм. *(*x*)*nappa-* < *(*x*)*nāpnā-* [норв. *nappa* 'pflücken, zapfen, schnappen', др.-швед. *nappa* 'klemmen, kneifen, erhaschen, hastig greifen, pflücken, sammeln, zerpfücken'] ~ лит. *knóbti* 'клевать', *kniēbti* 'щипать'; лтш. *knàbt, ~j, ~a* 3 pers. 'клевать', *kniēbt, ~bj, ~ba* 'щипать' Андронов 2002: 92; *knàbt, ~bju, ~bu* Schujen, *knàbt²* Warkl., *knàbt²* Dunika, Wandsen, *knàpt* C. 'picken, hacken' Mühl.-Endz. II, 244; греч. *κνάπτω* 'kratze, kratze auf, walke; zerreiße, zerfleische', '(о шерсти, сукне) чесать или валять; сечь, истязать' || Falk-Torp I, 754; Fraenk. I, 277; Frisk I, 881-882; Pok. 560-561.

12. герм. **xuppra-* < **xuþnā-* [др.-исл. *hoppra* 'прыгать', 'hüpfen, springen, tanzen', швед. *hoppra*; др.-англ. *hoppian* (2.cl.); ср.-н.-нем. *hoppen*, ср.-в.-нем. *hopfen, hupfen*] ~ ? лит. *kūpėti*, praes. 1.sg. *kūpu*, praet. 1.sg. *kūpėjau* 'sieden, коchen'; лтш. *kūpēt, kvēpt* || de Vries 248-249; Fraenk. I, 325-326; Фасмер II, 235-236; WH I, 312.

13. герм. **ḍuppa-* < **ḍupnʰ-* [норв. *duppa* 'tauchen, untertauchen, nicken', др.-швед. *doppa* 'tauchen, untertauchen'; др.-в.-нем. *tupfen* 'lavare', 'waschen, baden, befeuchten' (9.Jh.) ~ гот. *daupjan*, др.-исл. *deypa* 'tauchen'; др.-англ. *diēpan*, др.-сакс. *dōpian*, др.-в.-нем. *toufen* 'taufen'] ~ лит. *dùbtī*, praes. 1.sg. *dumbù* 'hohl werden, einsinken', лтш. *dubt*, praes.1.sg. *dubu*, praet.1.sg. *dubu* 'hohl werden, einsinken'; лит. *dúobti* 'aushöhlen', лтш. *dùobt* Schujen, *duòbt*² Bauske 'aushöhlen, schrapen Daiben; vertieft werden [?]' || Pok. 267-268; EWD III, 1861; Dybo 2002: 424.

14. герм. *wakka-* < **waknʰ-* [др.-исл. *wakka* schw.V. 'umhertreiben'; норв. диал. *vakka*, при норв. *vanka*, швед. *vanka*, нов.-дат. *vanke*, др.-сакс. *wankōn*, ср.-н.-нем. *wanken*, ср.-нидерл. *wanken*, др.-в.-нем. *wankōn* 'wanken, schwanken' ~ др.-англ. *wincian* 'winken'] ~ лит. *vėngti*, praes. 1.sg. *vėngiu*, praet. 1.sg. *vėngiau* 'избегать (кого-чего), уклоняться, увиливать (от чего)', *vingūs* 'gekrümmt'; лтш. *vaīgs* 'Wange, Backe, Gesicht, Vorderteil eines Dinges; vorstehende Fläche des Balkens' ~ др.-инд. *vāṅgati* 'hinkt'; лат. *vagus* 'umherschweifend', др.-ирл. *fān* (< **uagno-*) 'schief' || de Vries 639; Fraenk. II, 1223.

А.п. с производящих глаголов.

(по сигматическим претеритам (аористам) в латинском)

15. герм. **xnikka-* < **xniṅnʰ-* [др.-в.-нем. (*h*)*nicken* (9. Jh.), ср.-в.-нем. *nicken*, ср.-н.-нем. *nicken*, ср.-нидерл. *nicken* 'beugen, niederdrücken, sich beugen' ~ гот. *hneiwan* 'sich neigen'; др.-исл. *knīga* 'sich neigen, sinken'; др.-англ. *hnīgan*, др.-сакс. *hnīgan*, др.-в.-нем. *hnīgan* 'neigen'; др.-в.-нем. (*h*)*neigen* (8. Jh.), ср.-в.-нем. *neigen*, др.-сакс. *ginēgian*, ср.-нидерл. *neighen*,] ~ лат. *cōnīveō* < **con-cni(g)ueō*, perf. *cōnīxī* (*cōnīvī*) || Pok. 608; EWD II, 1160-1161; WH I, 261; Feist 265-266.

16. герм. **flakk*- < **flakn*'- [др.-исл. *flakka* 'herumstreichen, umherschweifen'; ср.-нидерл. *vlacken*, ново-в.-нем. диал. *flacken* 'lodern'] ~ греч. πλῆγνῦμι 'schlage', πλάζομαι 'umherschweifen'; лат. *plangō, planxi, plangere* 'schlagen; die Hand auf die Brust schlagen, laut trauern' || Pok. 832-833; WH II, 315-316.

17. герм. **stutta*- < **stutn*'- [др.-в.-нем. *irstuzzen* 'wegscheuchen, ins Unglück stürzen', поздне-ср.-в.-нем. *stutzen* 'scheu werden (vom Pferd)', собственно 'durch Anstoßen gehemmt werden' || гот. *stautan* 'толкать', др.-исл. *stauta*] ~ др.-инд. *tudāti*, лат. *tundō, tū(n)sī* (и *tutudī*), *tū(n)sum, tundere* 'стоßen, schlagen' || WH II, 716-717.

18. герм. **tukka*- < **tugn*'- [ср.-англ. *tukken* 'zusammenraffen, aufschürzen', англ. *to tuck* 'wegstecken, zusammenziehen'; др.-в.-нем. *zucken* (9. Jh.) 'schnell wegreißen, entreißen', ср.-н.-нем. *tucken* 'zucken, zappeln, zucken machen, rasch ziehen', ср.-нидерл. *tocken* 'auflocken, heranholen, ziehen, vorwärtziehen', *tucken* 'ziehen' || др.-в.-нем. *ziohan* (8. Jh.), ср.-в.-нем. *ziehen*, др.-сакс. *tiohan*, ср.-н.-нем. *tēn, tien*, ср.-нидерл. *tien*, гот. *tiuhan* 'führen'] ~ лат. *dūcō* (др. *abdoucīt*), *dūxī* (др. *adouxet*), *dūctum, dūcere* 'ziehen, schleppen, führen, leiten' || WH I, 377-378.

19. герм. **smitta*- < **smitn*'- или < **smiðn*'- [др.-англ. *smittian* 'funestare, maculare', 'beflecken, anstecken'; ср.-нидерл. *smetten (smitten)* 'beflecken, besudeln, einen Fleck bekommen'; Ёглаголы: др.-в.-нем. *smitzen*, ср.-в.-нем. *smitzen* 'abstreichen, beschmieren, beflecken' ~ гот. *bi-smeitan* 'bestreichen', *ga-smeitan* 'aufstreichen'; норв. диал. *smīta* 'bestreichen, schmieren', *refl.* 'sich fortschleichen', швед. *smīta* 'schlüpfen, schleichen, schlagen'; др.-англ. *smītan* 'beschmutzen, verunreinigen', англ. *smite*, др.-фриз. *smīta*, др.-сакс. *bismītan* 'beflecken', ср.-н.-нем. *smīten* 'schlagen, schleudern, schmeißen, werfen', др.-в.-нем. *smīzan* 'beschmieren, streichen, schlagen', нем. *schmeißen* 'кидать, швырять', *beschmeißen* 'забрасывать (кого-л., что-л. чем-л.); засидеть, зага-

дить (о мухах); ю.-нем. (за)грязнить, (за)пачкать; жарг. обманывать, надувать'] ~ авест. *āmθnāiti* '(an sich) kommen lassen', *paiti.mθnāiti* '(zurückschicken sva.) Laufpass geben, absagen'; лат. *mittō, mīssī, missum, mittēre* 'бросать, метать, кидать, швырять; свергать, сбрасывать; пускать; вводить; ввергать, ставить; посылать, отправлять; пропускать; сопровождать; готовить...'; по-видимому, сюда не относятся: авест. *mθnāiti* 'weilt, wohnt, bleibt, ist dauernd vorhanden'; лит. *mīsti*, praes. 1.sg. *mintù*, praet. 1.sg. *mitaũ* 'сich (er)nähren, von etw. leben, sich durchs Leben schlagen, sein Leben fristen, leben, existieren', 'питаться, кормиться; жить'; лтш. *smaĩdīt* 'schmeicheln' || Feist 95-96; Fraenk. I: 397-398, 459-460; Bartholomae 1105-1106; Pok. 968; Falk-Torp II, 1081; Holthausen AEEW, 302; EWD III, 1545-1546; WH II, 97-99.

20. герм. **sukkl-* < **sugnʼ*- [норв. *sukka* 'seufzen', др.-швед. *sukka, sokka*, швед. *sucka*, др.-дат., дат. *sukke* 'seufzen' ~ др.-исл. *súga* 'saugen', др.-англ. *sūgar*, др.-сакс. *sūgan*, др.-в.-нем. *sūgan*] ~ лтш. *sūkt*, praes. 3. *sūc*, praet. 3. *sūca* 'сосать' Андронов 2002: 189; лит. *suĩkti*, praes. 1.sg. *sunkiù*, praet. 1.sg. *sunkiaũ* 'цедить, выжимать' (WH II, 622: lett. *sūzu, sūkt* "saugen"); лат. *sūgō, sūxī, sūctus, -ere* 'saugē' (о др.-ирл. *sūgim* "saugē", др.-валл. *dis-sunc-netic* 'exanclāta', валл. *sugno* 'lactēre' см. Vendryes De hib. voc. 181 и Pedersen I, 72) || de Vries 560; WH II, 622-623; Fraenk. II, 941 (к √ **senk-*).

Глаголы с геминацией согласных, у которых акцентуационная валентность корня не определена: их сейчас насчитывается 22 основы.

Глаголы с назальным суффиксом (-*л-*).

Barytona.

А.п. *a* и *b* производных -*л-*глаголов.

1. герм. **blēðnl-* < **blédnl-* [гот. *af-blindnan* 'erblinden' (только Randglosse *afblindnodedun* в Cod.A к *af-daubnodedun* 'ἐρωρώθη 2 К 3, 14) 'erblinden')] ~ схрв. *blēnuti*, praes. 1.sg. *blēnēm* 'бессмысленно смотреть; та-

ращить глаза, глазеть', 'starre, staune' (Feist 98); лит. *blęstis*, praes. 3. *bleñdžiasi*, praet. 3. *bleñdėsi* 'хмуриться, покрываться тучами'; лтш. *bliēzt*, praes. 1.sg. *bliēžu*, praet. 1.sg. *bliēzu* 'Unsinn reden' (для значения ср. также лтш. диал. из курш. *blēntz*, -žu, -zu Bächh., Lös., *blēnst* PS., *blēnst*², -žu, -du Dond., Wandsen, Selg., *blēnst* Karls. 'schwach sehen, [kurzsichtig sein U.], kaum wahrnehmen, schauen, lauern, glotzen, gaffen, spähen'); гот. *blinds* adj. 'blind'; др.-исл. *blindr* adj. 'blind'; || Feist 4, 98-99; de Vries 44; Fraenk. I, 47-48;

2. герм. **lifna* < **lifna*- [гот. *af-lifnan* 'übrig bleiben', 'оставаться'; др.-исл. *lifna* 'leben bleiben', 'оставаться'] ~ слав. **льпнѣти*, praes. 1.sg. **льпнѣ*, **льпнеть* [схрв. *приѣнути*, praes. 1.sg. *приѣнѣм*, чеш. *lípnouti* 'присоединять; шлепать; (экспр.) втираться в доверие', *l* и *l se* 'прилипать, липнуть', чеш. (стар.) *lepnouti* 'лгнуть', *lepnouti* и *lípnouti* 'лгнуть; хвататься (за что-л.)' (Jungmann II, 296); слов. *lípnuť* (?), при современном *lípnuť*) 'липнуть; следовать, придерживаться (кого-л., чего-л.), жаждать (кого-л., чего-л.)' (SSJ II, 53, 48)] ст.-слав. прильпѣти. || Feist ; ЭССЯ 17: 92-93.

3. герм. **sufna* < **súfna*- [др.-исл. *sofna* (*sofnaþa*) 'in Schlaf fallen, einschlafen'] ~ слав. **сьпнѣти*, praes. 1.sg. **сьпнѣ*, 3.sg. **сьпнеть* [схрв. *у̀снути*, praes. 1.sg. *у̀снѣм*, *заснути*, praes. 1.sg. *заснѣм*]

4. герм. **blikna* < **blíkna*- [др.-исл. *blikna* schw. V. 'bleichwerden', швед. диал. *blikna*, *blekna*] ~ лит. *nu-bliękti* 'płowięć, tracić barwę', *blýkšti*, praes. 3. *blýkšta*, praet. 3. *blýško* 'бледнеть'; слав. **блѣкнѣти*, praes. 1.sg. **блѣкнѣ*, 3.sg. **блѣкнеть* [кашуб. *vəblėknȳc*, *zblėknȳc* 'spelznać'; русск. *блѣкнуть*, -ну, -нешь; укр. *блѣкнути*, -ну, -неш; польск. *blaknąć* 'выцветать, блекнуть']. || de Vries 44; Fraenk. I, 46; Фасмер I, 173;

5. герм. **bleikna* < **bléikna*- [др.-исл. *bleikna* schw.V. 'blass werden', англ. диал. *blaken* (Flom. Infl. 19) ~ др.-исл. *bleikr* adj. 'bleich'; др.-исл. *blýn*. 'Blei' (< прагерм. **blīwa*, Noreen 77, 6) || Feist ; de Vries 43, 45-46;

А.п. *b* производящих глаголов.

(по славянским и латышским показаниям)

6. герм. **frexna-* < **fréxna-* 'спрашивать' [гот. *fraihnan* 'fragen' (praes. 1.sg. *fraihna* L 6,9; praet. 3.sg. *frah* M 27,11; 3.pl. *frehun* M 7,5; part.praet. *fraihans* L 17,20), *ga-fraihnan* 'erfragen'; др.-исл. *fregna*, др.-англ. *friznan* 'fragen', др.-сакс. praet. *fragn* 'frug', pl. *frugnun* 'frugen', *gi-fregnan* 'erfahren'] || слав. **prosīti*, praes. 1.sg. **prosjǫ*, 3.sg. **pròsītъ* || Feist 161-162

В эту группу входят, по-видимому, как *-печ-*, так и *-пā-* глаголы. Здесь их объединяет то, что все они с доминантным корнем. Имеется еще 22 основы с *-л-* суффиксом. Большая часть из них готские и, по-видимому, большинство из них инхоативы. Установить их валентность пока не удалось.

Кроме этой группы установлено семь основ с суффиксом *-л(ā)-* с явным инхоативным значением, корни которых имеют в балтославянском рецессивную валентность.

Случаи образования инхоативов от рецессивных глаголов:

1. герм. **br̥kna-* < **br̥kna-* [гот. *us-bruknan* 'abgebrochen werden' ~ гот. *brikan* 'brechen, zerstören, kämpfen'; др.-англ. *brecan*, др.-фриз. *breka*, др.-сакс. *brekan*, др.-в.-нем. *brechan* 'brechen'] ~ др.-инд. *giri-bhrāj-* (RV X, 68, 1) 'aus den Bergen hervorbrechend'; лат. *frangō*, pf. *frēgī*, *frāctum* ~ лит. *brāzt*, praes. 1.sg. *brāžu*, praet. 1.sg. *brāzu* Kr., Kl., Salisb., Ermes, Muremois, Stockm., C., PS., Warkhof (но также *brāzt* Bl., Bächhof, Grüwald); лит. *brōžti* 'wischen, streifen, hingleiten, kratzen, schrammen, ritzen', 'ощарапать'; интенсив: *brōžyti*, *brėžti*, praes. 1.sg. *brėžiu* 'чертить; царапать; чиркать' (в балтийских языках удлинение по закону Винтера); || Feist 529-530, 105-106; WH I, 541; Holthausen AEEW 33; Seebold 132-135;

2. герм. **hnīpan*- < **hnīpan*- [гот. **ga-hnīpan* (конъектура вместо *ga-nīpan*, см. стр. 195) 'sich betrüben' (только part.praes. *ga-nīpanands* Mc 10,22 'betrübt geworden'); др.-исл. *hnīpa* 'missmutig sein' ~ др.-исл. *hnīpa* 'missmutig sein'; др.-англ. *hnīpian* 'den Kopf hängen lassen'; ср.-нидерл. *nīpen* 'kneifen'] ~ лит. inf. *knibtì* 'zusammensinken', 'оседать, обрушиваться', praes. 1.sg. *knimbù*, 'sinke zusammen', praet. 1.sg. *knibaũ*, *kneibtì*, praes. 1.sg. *kneibiù* 'ковырять; клонить, опускать'; лтш. *kniēbt*, *-bju*, *-bu* 'knetfen, zwicken', *kniēbtiēs* 'zukneifen (die Lippen)', *knaibīt* 'wiederholt kneifen, zukneifen' || Feist 195, 183; Fraenk. I, 277-278; Mühl.-Endz. II, 248;

3. герм. **xwapn*- < **xwǣpn*- [гот. *af-hwapnan* 'ersticken, erlöschen' (*intr.*) || слав. **кypѣти*, praes. 1.sg. **kŭpъjъ*, 3.sg. **кypѣтъ*

4. герм. **hnupn*- < **hnūpn*- [гот. *dis-hnupnan* (только 3.pl. praet. *dis-hnupnodedun* L 5,6) 'zerreißen' (intrans.) ~ гот. *dis-hniupan* (только part.praes. *dis-hniupands* L 8,29) 'zerreißen' (trans.); др.-швед. *niupa*, швед. *nyra* 'kneifen'; др.-англ. *ā-hnēopan* 'abpflücken' || с геминацией согласных: норв. диал. *puppa*, др.-англ. *hnoppian* 'pflücken'; нидерл. *ropen* 'zwingen' || лит. *knubu* (?) 'hingebückt'; лтш. *kpubt* 'einbiegen', *sa-kpubt* 'sich krümmen' || Feist 119-120;

5. герм. **weīpn*- < **weīxn*- [гот. *weihnan* 'heilig gehalten werden' ~ гот. *weihan* 'weißen, heiligen'; др.-фриз. *wīa*, др.-сакс. *wīhian*, др.-в.-нем. *wīhen* 'weißen' ~ грамматическое чередование: др.-исл. *vīgja*, др.-фриз. *wīga* 'weißen'] || Feist 557;

6. герм. **letn*- < **létn*- [гот. *and-letnan* 'abscheiden' ~ гот. *letan*, *laílot*, *laílotun*, *letans* 'lassen'; др.-англ. *lǣtan*, *lēt*, *lēton*, *lǣten* 'lassen, zulassen'; др.-фриз. *lēta*, *lēt*, *lēton*, *lēten* 'lassen, erlassen'; др.-сакс. *lātan*, *lēt* (-ie), *lēton* (-ie-), *-lātan* 'lassen, zurücklassen, niederlassen, erlauben'; др.-в.-нем. *lāzan*, *liaz*, *liazun*, *gilāzan* 'lassen, loslassen, erlassen, erlauben']; греч. *ληθεῖν* 'κοπῶν' 'ermüden', ср. лит. *léisti*, praes. 1.sg. *leidžiu* 'lassen, loslassen, freilassen'; лтш. *laist* 'lassen' || Feist 50, 329-330; Seebold 333-335; Fraenk. I, 351-352;

7. герм. **luknā* - < **lūkna* - [гот. *ga-luknan* 'sich verschliessen'; др.-исл. *lykna* 'sich beugen' ~ гот. *ga-lūkan* (praet.3.sg. *galauk* L 3,20; praet.3.pl. *ga-lukan* M 27,66) 'verschliessen'; др.-исл. *lūka*; др.-англ. *lūcan*, др.-фриз. *lūka*; др.-в.-нем. *lūhhan* 'schliessen']; ср. др.-исл. *lokkr*; др.-англ. *loc*; др.-в.-нем. *loch*, ср.-в.-нем. *lock(e)m* 'Locke'; лит. *laužti*, лтш. *lauzt*|| Feist 189-190; Dybo 2002: 426-427.

Так как согласно закону Вернера готский показывает накоренное ударение инхоативов с суффиксом **-nā-*, что характерно и для славянского, можно предполагать в германском у этих глаголов ту же метатонию и им-мобилизацию акцента на корне, что и в славянском.

Византийские диалекты: история возникновения и бытования

А.А. ЕВДОКИМОВА (МОСКВА)

Неоднородный характер византийского литературного языка, обилие идиалектов (увлечение подражанием стилям разных античных авторов, литературные и стилистические игры), влияние литературной моды на язык, национальная неоднородность территорий империи привели к тому, что понятие нормы для византийского греческого в некотором роде размыто. Выделение и описание византийских диалектов затруднительно не только в силу особенностей литературного византийского греческого языка, но и в связи с малым числом изданий диалектных памятников. Основным источником для диалектных описаний указанного периода являются надписи и, особенно, граффити. Если опираться на представленный в них языковой материал можно выделить следующие диалектные области: Каппадокия (G. de Jerphanion, *Une nouvelle province de l'art byzantin- Les Eglises rupestres de Cappadoce*. Bibliothèque archéologique et historique. Paris: 1925-1942; Nicole et Michel Thierry. *Nouvelles églises rupestres de Cappadoce. Region de Hasan Dağı*. Paris: 1963. P. 67-70, pl. 36-37; V. Laurent. *L'inscription de l'église Saint-Georges de Beliséràma* // Nicole Thierry. *Peintures d'Asie Mineure et de Transcaucasie aux X-e et XI-e s*. London: 1977. I P. 367-371; C. Jolivet-Lévy, G. Kiourtzian. *Découvertes archéologiques et épigraphie funéraire dans une vallée de Cappadoce*. // Catherine Jolivet-Lévy. *Etudes Cappadociennes*. London: Pindar Press. 2002. P. 116-152 и т.д.), Трапезунд и Понт (Receuil d'inscriptions grecques et et latines du Pont et de l'Arménie. Bruxelles: 1910; Т. С. Каухчишвили. *Греческие надписи Грузии*. Тбилиси: 1953 и т.д.), Афины (Α.Κ. Ορφάνδος. *Τα χαράγματα του Παρθενώνος*. Αθήναι: 1973), Крит (Α.С. Bandy. *The Greek Christian Inscriptions of Crete, IV-IX Century AD*. Athens: 1970), Северная Греция и славянские территории (N.A. Bees (Βέης) *The Greek Christian*

Inscriptions of Peloponnes, fasc. I: Isthmos, Korinthos. Athen: 1941; Mihailov, G. "La Langue Des Inscriptions Grecques En Bulgarie." Sofia (1943); Евдокимова А.А. Языковые особенности греческих граффити Софии Киевской. Диссертация. М.-Спб.: 2008) et cetera.

Некоторые из упомянутых выше диалектов были засвидетельствованы уже для древнегреческого языка (критский). Одни из возникших в византийское время продолжают свое существование до сих пор (понтийский), другие фактически вымерли после малоазийской катастрофы (каппадокийский).

В истории ранее упомянутого Каппадокийского диалекта выделяется три крупных периода:

- 1) до 1071 года, завоевания территории сельджуками;
- 2) с 1071 по 1922-23
- 3) после 1922 года.

Эпиграфический материал дает нам представление о первых двух периодах, хотя основная масса памятников приходится на второй. Понтийский диалект представлен был не только на территории Трапезунда, где и до сих пор есть его носители, но и на территории Грузии, откуда большая часть греков уехала в Грецию. Оба эти диалекта сближаются по фонетическим и акцентуационным особенностям. Часть надписей на этих диалектах, особенно, это относится к граффити, свидетельствуют о бытовании александрийской акцентуационной системы в XII-XIII веках, хотя в империи с X века повсюду использовали византийскую систему акцентуации. Кроме указанных двух систем акцентуации в некоторых надписях встречаются и другие системы, пока еще недостаточно изученные. Одна из них подчиняет акцентуацию смыслу, ударения в ней становятся маркерами смысловых акцентов.

При изучении византийских диалектов мы сталкиваемся с такой проблемой: как отличить, какие случаи отклонения от нормы византийского койне являются ошибкой пишущего и свидетельствами его безграмотности, а какие характерными особенностями диалекта. К сожалению, статистические данные являются плохими показателями, так как сравнительно невелико число памятников, и все они, в основном, одно-двустрочные, слов на десять, максимум двадцать и построены по традиционным формулам. Как известно, в Византии основной «корпус» надписей молитвенного характера или надгробных (подписи к святым, цитаты и проч. обычно писались мастерами, в отношении происхождения которых более-менее точно можно определить только «школу»), а более пространные надписи, посвятельные или донаторские встречаются реже, что и уменьшает общий объем корпуса и сокращает количество наиболее частотных слов. Если сравнить с аналогичным «корпусом» античных надписей на диалектах, то там несколько иная ситуация, так как такой жанр памятников как декрет был широко распространен, да и сами надгробные надписи носили часто литературный характер. При этом средний размер декрета превышал 15 строк, что около 150 слов, а надгробных эпитафий – 6-10 строк.

В докладе будут показаны наиболее интересные примеры из собираемого корпуса византийских диалектных надписей и охарактеризованы их особенности.

Теонимы (на материале пословиц и поговорок, фразеологизмов русского и казахского языков)

С. К. ИМАНБЕРДИЕВА (АЛМА-АТА)

Всякий язык есть социально-историческое явление, потому имеет национальный характер. Картина мира представляется как взаимодействие человека и среды или как результат переработки информации о среде и человеке.

С понятием языковой картины мира тесно связано понятие культурного символа. При этом языковая картина мира того или иного народа включает как общечеловеческие, так и национально-специфические символы.

«Сходные элементы, – отмечает З.К.Сабитова, – в лексико-семантических системах двух или более языков могут быть обусловлены тремя факторами: а) общим происхождением сопоставляемых языков, их генетическим родством; б) действием закона языковых универсалий, обуславливающего возникновение в разных языках, вне связи друг с другом, аналогичных лексико-семантических процессов; в) наличием экономических, политических, культурных контактов между народами – носителями языков-культур» [1,78].

Формирование и существование знаний человека о мире невозможно без языка. В языке фиксируются результаты познания окружающей среды, образ жизни, мироведение народа-носителя языка. Язык окружает наше бытие как сплошная среда, вне которой и без участия которой ничто не может произойти в жизни. Зафиксированную в языке и специфическую для данного языкового коллектива схему восприятия деятельности называют языковой картиной мира [2. 14].

О способности языка преобразовывать действительность и порождать специфическую картину мира Э.Сепир писал так: «... внутреннее содержание всех языков одно и то же – интуитивное знание опыта. Только внешняя их форма разнообразна до бесконечности, ибо эта форма ... не что иное, как коллективное искусство мышления» [3, 193].

Описание национально-культурной специфики паремии тесно смыкается с проблемами исследования человеческого сознания, восприятия мира и способов его осознания, отраженных в языке [4, 8].

Объектом нашего исследования в данной статье являются пословицы и поговорки русского и казахского языков, в составе которых есть теоним – бог, господь, Алла, Кудай, Танир.

Любой язык хранит в своих единицах следы провиденциалистского видения мира. Употребляя те или иные слова, выражения, человек не подозревает, насколько язык пронизан идеей бога, насколько «вездесущ» провиденциальный субъект [5, 8].

Субъект провиденции – это некая неведомая (всевидающая, всеслышающая) сила в виде бога, судьбы, рока, случая и др., неизбежно, неотвратимо предопределяющая жизнь человека, его действия, состояние [6, 202].

Пословицы русского и казахского языков *Без бога ни до порога и Алла деп барсан аман келерсин* (букв.: С именем Аллах вернешься невредимым) по смыслу аналогичны, здесь присутствует провиденциальный субъект – бог. Одному ему решать судьбу человека.

Пословицы казахского языка *Кудай маган түйедей бой бергенше, түймедей акыл бер* (букв.: Дай бог мне ума с размером пуговицы, чем рост верблюда) *адамнын басы – Алланын добы* (букв.: Голова человека – мяч Аллаха) показывают склонность человека к фатализму, смирению и покорности. Эту мысль мы находим в трудах А.Вежицкой: « ... особо выделяется неагентивность, которая проявляется в том, что человек ощущают, что

ему не подвластна его собственная жизнь, и представляет себя (и любого человека) как пассивного экспериенцера, «неконтролера» жизненных ситуаций, склонного к фатализму, смирению и покорности» [7, 33].

Наблюдается смысловая антитеза глаголов *не боится* и *не бойся* в составе пословиц русского и казахского языков: *Кто бога не боится, тот людей не стыдится; Кудайдан корыкпа, Кудайдан корыкпаганнан корык* (букв.: Не бойся бога, бойся тех, кто не боится бога), то есть в русском языке нужно бояться бога, а в казахском языке это мысль актуализируется через безбожника. Кроме того, в данных пословицах дается характеристика человека.

Пословица русского языка *Бог терпел, да и нам велел* является национально-специфичным, так как в России доминирует христианство, а в Казахстане – мусульманство. Данная пословица подразумевает под провиденциальным субъектом – Иисуса, который терпел муки, умер и воскрес. У мусульман Иисус (Иса) является одним из пророков. У каждого народа прослеживаются свои национально-специфические понятия, связанные с верованиями и др., о чем свидетельствуют пословицы русского языка: *Бог один, да вера разная; Всяк своему богу молится*.

Пословица казахского языка *Минсиз Кудай, кирсиз су* (букв.: Безупречен бог, вода чиста) показывает насколько всемогущ, безупречен бог и это сравнивается с тем, насколько может быть чиста вода. В русском языке есть выражение *чист, как стеклышко*, а в казахском и других тюркских языках есть выражение *суттен ак, судан таза* (букв.: Белее молока, чище воды). В указанных выше пословицах русского и казахского языков ключевым словом выступает компонент бог.

Литература

1. Сабитова З.К. Прошлое в настоящем. Русско-тюркские культурные и языковые контакты. – Алматы: Казах университети, 2007. - 320 с.
2. Яковлева Е.С. К описанию русской языковой картины мира// Синтаксис: изучение и преподавание. – М., 1997. С.14-27.
3. Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии// Пер. с англ. – М.: Издат. Группа «Прогресс», 2002. -656 с.
4. Чой Кен Нам. Языковое выражение культурных символов в русской народной сказке (на фоне корейского фольклора). Автореф. Дисс.... канд. филол. наук. –М., 2008. -24 с.
5. Кусков В.В. История древнерусской литературы. – М.: Высш. школа, 1989. 304 с.
6. Гак В.Г. Судьба и мудрость//Понятие судьбы в контексте разных культур/Отв. Ред. Н.Д.Арутюнова. –М.: наука, 1994. С.198-206.
7. Вежицкая А. Язык. Культура. Познание/Пер. с англ. Отв. Ред. Н.А.Кронгауз. – М.: Русские словари, 1997. -416 с.

Лексические инновации и классификация уральских языков

М. А. ЖИВЛОВ (МОСКВА)

Традиционная уралистика оперирует рядом промежуточных праязыков между прауральским и праязыками нижнего уровня. Однако некоторые исследователи (в частности, Т. Салминен) ставят под сомнение реальность таких промежуточных праязыков, как прафинно-угорский, праугорский, праобско-угорский, прафинно-пермский, прафинно-волжский и прафинно-саамский, предпочитая выводить праязыки нижнего уровня (прасаамский, праприбалтийско-финский, прахантыйский и др.) непосредственно из прауральского. Дополнительные данные для решения проблемы классификации уральских языков может дать анализ инноваций в базисной лексике (стословном списке Сводеша), общих для нескольких бесспорных языковых групп нижнего уровня.

Проведённый нами анализ даёт достаточно интересные результаты. С одной стороны, ряд общих лексических инноваций подтверждает реальность обско-угорского праязыка (напр., манс. и хант. *jooŋi 'дерево' при прауральском *riwe 'дерево'). Имеются также и общие угорские инновации (напр., венг., манс. и хант. *tũŋVtV 'огонь' при прауральском *tule 'огонь'). С другой стороны, в некоторых случаях совместные инновации объединяют венгерский с одной или несколькими подгруппами финно-пермских языков, при том, что обско-угорские языки сохраняют прауральский архаизм (венгерское и пермское *karV- 'кусать' при прауральском *puge- 'кусать', сохранённом в мансийском и хантыйском). В пределах списка Сводеша не обнаруживается инноваций, которые можно было бы отнести к прафинно-пермскому уровню.

Древнеирландское *aire échta*

Н. Ю. ЖИВЛОВА (МОСКВА)

В нашем докладе исследуется семантическое поле, связанное с понятиями *écht* и термином *aire échta* в древнеирландском языке. Древнеирландское *écht* происходит от и.-е. **ǵh₁t-*; к тому же корню **peh₁-* ‘исчезать, пропадать’ возводятся др.-ирл. *és* ‘смерть’ и *ésep* ‘необходимость, принуждение’ (ср. авест. *pasu-* ‘труп, падаль’, греч. *vénus* ‘мертвец, труп’). Традиционное сближение *écht* с греч. *ἀνάγκη* ‘необходимость, принуждение’ и хетт. *ḥenkan* ‘смерть, чума’, (предложенное Х. Педерсеном и принимавшееся Ю. Покорным, А.И. Фалилеевым и другими) представляется неоправданным (см. *Kloekhorst A. Etymological Dictionary of the Hittite Inherited Lexicon. Leiden, 2008*).

Архаичный термин *aire échta* ‘знатный убийца’ играет важную роль в древнеирландском праве. Человек этого ранга был обязан оружием защищать честь племени; убийства, которые он имел право совершать, регламентировались строгими юридическими нормами. Функция *aire échta* имеет интересные параллели в других индоевропейских традициях, что позволяет в новом свете увидеть как место *aire échta* в структуре древнеирландского племени, так и структуру внутриплеменных и межплеменных взаимоотношений в архаических индоевропейских обществах в целом.

Развитие системы лексических способов выражения высокой степени признака в греческом языке

Н. М. ЙОВА (МОСКВА)

Помимо установленных грамматических средств выражения высокой степени признака (ВСП) (или суперлатива) существуют лексические и синтаксические способы выражения понятия крайне отрицательной или крайне положительной оценки предмета или явления. При этом система лексических средств, которые могут передать ВСП описательно, развита особенно хорошо. Слова, передающие значение высокой степени, в научной литературе принято называть «усилителями».

В языке обычно выделяются несколько групп усилителей. К одной группе относятся усилители, которые не выражают субъективного отношения к предмету, а просто указывают на высокую степень проявления какого-либо признака. К другой группе относятся усилители, имеющие также и стилистическую окраску. Количество слов данной группы постоянно изменяется. Происходит это из-за того, что экспрессивное значение слов постепенно нивелируется, что заставляет говорящих искать все новые и новые слова, могущие отразить их отношение к предмету. Эту группу составляют полнозначные слова, имеющие вторичное значение «очень», но одновременно придающие высказыванию явный субъективный оттенок.

В древнегреческом языке способ возведения признака в высокую степень с помощью усилителей получил особенное развитие, что нашло отражение в языке комедий Аристофана. Основными частями речи, с помощью которых выражалась ВСП, являлись:

относительные местоимения – οἷος, ὅσος;

указательные местоимения – τοιοῦτος, τοσοῦτος;

наречия количества – μάχιρόν, μέγα, ὅσον, πολλά, πολλή;

наречия качества – ἄγαν, λίαν, μάλα, μᾶλλον, μάλιστα, μεγάλως, οἶον, οὔτως, πάνυ, παράπαν, πολὺ, πόρρω, σφόδρα.

Соответственно, можно выделить 2 основные структурные модели лексических средств выражения ВСП:

– местоимение-усилитель + усиливаемое слово;

– наречие-усилитель + усиливаемое слово.

Наречия-усилители, в свою очередь, распределялись на две подгруппы:

– утратившие свое первоначальное конкретное лексическое значение и подвергшиеся наибольшей степени абстрактизации (πολὺ, πολλὰ, πολλῶ, μάλα, μᾶλλον, μάλιστα);

– подвергшиеся десемантизации в меньшей степени и привносящие эмоционально-субъективную оценку в понятие высокой степени (μέγα, ὅσον, μακρῶ, πόρρω, ἄγαν, λίαν, μακρά, μεγάλως, οἶον, οὔτως, πάνυ, παράπαν, σφόδρα).

С течением времени говорящие оценивают как недостаточные уже существующие и используемые наречия-усилители, и они начинают использовать сочетания усилителей, составляемые из уже известных усилителей: Μέγα σφόδρα, οὔτω σφόδρα, ὡς σφόδρα, οὔτω πάνυ, ὡς πολὺ, πολλῶ μᾶλλον, παρὰ πολὺ. Сразу отметим, что почти все такие «двойные усилители» встречаются в последних по времени написания комедиях Аристофана. Так, сочетание παρὰ πολὺ встречается 1 раз в комедии «Плутос» (Пл. 445). Вероятно, такое образование вошло в обиход только к тому времени, что и было зафиксировано Аристофаном.

Тексты комедий дают богатый материал для анализа диахронных изменений в языке (из дошедших 11 комедий – первая комедия «Ахарняне» относится к 425 г. до н.э., а последняя «Плутос» – к 388 г. до н.э.).

Так, усилители, у которых частотность в первых комедиях достаточно велика (σφοδρα, οἶον), – в последних комедиях уступают место другим усилителям (μᾶλλον, πάνυ, πολὺ). Даже на протяжении 40 лет (время творчества Аристофана) можно проследить процесс стирания значений усилителей и постепенной замены их носителями языка на другие: если в комедии «Ахарняне» встречаются усилители ἄγαν, λίαν, οἶος, ὅσος, πάνυ, σφοδρα, то в комедии «Плутос» им на смену приходят μᾶλλον, ὅσος, οὕτως, πολὺ и сочетания двух усилителей ὡς πολὺ, οὕτω πάνυ, οὕτως σφοδρα, ὡς σφοδρα.

По наблюдениям, значительное распространение в последних комедиях имеют лишь несколько усилителей (μᾶλλον, πάνυ, πολὺ), которые вытесняют другие усилители. Другими словами, в комедиях Аристофана зафиксирован процесс унификации усилителей.

Можно предположить, что в процессе развития языка в последующие периоды будут происходить дальнейшие изменения в системе лексических средств выражения ВСП.

Поскольку новогреческий язык – это позднейший период развития греческого языка, правомерно использовать примеры из переводов комедий Аристофана на современный греческий язык.

Исследовались переводы комедий, сделанные на протяжении всего XX века (от 1910 до 1997 г.). Переводчики не старались передать обязательно стихотворный размер подлинника (иногда это прозаические переводы), так что нельзя «обвинять» их в использовании каких-то особых способов передачи ВСП в зависимости от метрики исходного текста. Можно с большой долей уверенности предполагать, что, так как почти все переводы предназначались для театральных постановок, переводчики максимально использовали бытующие в языке средства передачи ВСП для того, чтобы

быть лучше понятыми. Все лексические средства усиления, отмеченные в переводах комедий Аристофана, можно разделить на 3 группы:

А) усилители, которые потеряли свою полнозначность и превратились в универсальные усилители со значением «очень». Их можно назвать формальными усилителями. Они допускают сочетание с другими усилителями, возводя при этом признак в очень высокую степень (πολύ, πῶ, πλεον, πότερο, πολλὰ). Эти наречия можно представить в виде следующей цепочки: πολύ – πλεον – πῶ – πότερο, где все наречия представляют собой градационную цепочку и немного различаются по своим значениям: πλεον – «более, больше»; πῶ – «более, больше»; πότερο – «еще больше». Πλεον и πῶ имеют одинаковое лексическое значение, но они различаются по времени их появления в языке: πλεον – ближе к древнему периоду языка, оно существовало раньше, чем πῶ, ибо πῶ является стяженной формой от πλεον. Из этих усилителей наиболее распространен усилитель πολύ. Частота употребления данного усилителя от начала к концу XX века постоянно увеличивается: в последних переводах он сочетается даже с превосходной степенью прилагательных (пер. 1978, 1986, 1997);

Б) усилители, у которых лишь отчасти утратилось их первоначальное лексическое значение (τί, πῶς, πόσο, τόσο, υπέρμετρο, παρὰ πᾶν, μάλιστα). Они употребляются не только для возведения признака в высокую степень, но и для его субъективно-эмоциональной характеристики. Усилительные значения большинства этих лексем вторичны, однако в определенных сочетаниях они уже не имеют другого значения, кроме усилительного. Наблюдения показывают, что происходит процесс превращения их в формальные усилители – о чем свидетельствует рост числа сочетаний некоторых из этих усилителей не только с различными частями речи, но и друг с другом. Параллельно наблюдается и прямо противоположное явление: некоторые из указанных слов, употреблявшиеся достаточно широко в

усилительном значении, с течением времени не превращаются в формальные усилители, а наоборот, теряют свое усилительное значение и как усилители более не употребляются;

В) усилители, которые полностью сохранили свое лексическое значение и могут употребляться и как самостоятельные лексемы, и как усилители. Большинство слов – это наречия, обозначающие силу, размер, возможность. Следует отметить, что почти во всех случаях, когда такое наречие употребляется в качестве усилителя, его лексическое значение имеет отрицательную окраску (φοβερά, αγρίως).

Как показывают исследования текстов, в новогреческом языке значительно шире, чем в древнегреческом языке времен Аристофана, используются средства и способы возведения признака в высокую степень на лексическом уровне. Данные наблюдения являются еще одним доказательством нарастающего аналитизма в греческом языке.

Слова сакрального значения в синхронном и диахронном рассмотрении

Г. А. КАЗАКОВ (МОСКВА)

Данная публикация является кратким извлечением из большого исследования, посвященного месту и особенностям слов сакрального значения в системе языка. Материалом для анализа служат наблюдения из двух десятков языков (по большей части индоевропейских).

Сакральные слова – это лексические единицы, по своему значению относящиеся к области священного, называющие явления и предметы религиозной жизни, использующиеся для выражения представлений человека о высших силах. Главная характеристика сакрального – противопоставленность обыденному (профанному). На различных этапах развития этноса сакральными могут быть разные слова: от названий животных и явлений природы в первобытную эпоху до отвлеченных понятий, появляющихся в монотеистических религиях.

В синхронном плане слова сакрального значения проявляют свои особенности в том, что их формы и состав их окружений часто предстают как исключения из современной языковой нормы. Ниже приводятся несколько примеров, связанных с одним лишь словом «Бог».

ГРАФИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ. В церковнославянском языке слово «Бог» имело два написания: полное – БОГЪ, служившее для обозначения языческих божеств, и сокращенное, относившееся к единому Богу, которое писалось с опущением гласной «о» и под диакритическим знаком титла: БГЪ (1). Подобное написание применялось и к другим сакральным словам: так, «апостол», «ангел», написанные без титла, означают ангела или апостола сатаны (2).

ФОНЕТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ. Согласно орфоэпической норме современного русского языка (3), на конце слова «г» оглушается до [к]: «сапог» [сапок], «уютюг» [ут'ук], «вдруг» [вдрук]. Однако слово «Бог», вопреки этому правилу, произносится как Бо[x]. Более того, норма допускает в качестве варианта в косвенных падежах этого слова щелевое [γ]: «Бога» [боγа].

Примеры **МОРФОЛОГИЧЕСКОГО УРОВНЯ** можно подразделить по грамматическим категориям.

Определенность. В романских и германских языках перед словом «Бог» (единый): англ. *God*, нем. *Gott*, исп. *Dios*, фр. *Dieu*, ит. *Dio* и т.д. – определенный артикль не ставится, хотя, следуя грамматической логике, в этом случае (известное, единственное в своем роде лицо) его следовало бы употребить.

Род. Наблюдается нарушение грамматического согласования глагола с существительным по категории рода (имеет место с е м а н т и ч е с к о е согласование). Например, в тексте утренней молитвы Святой Троице из православного молитвослова: «От сна восстав, Благодарю Тя, Святая Троице, яко многия ради Твоя благодати и долготерпения не прогневался еси на мя, лениваго и грешнаго...» (4). Существительное «Троица» относится к женскому роду, однако согласование происходит по мужскому (очевидно, с ориентацией на слово «Бог», а также на Лица, составляющие, согласно христианскому вероучению Троицу: Отец, Сын, Святой Дух).

Падеж. Слово «Бог» – одно из немногих, сохраняющих в современном русском языке старую форму звательного падежа. Кроме того, только формы «Боже» и «Господи» находятся в широком употреблении как междометия, тогда как распространение других примеров зват. пад. («сыне», «друзе», «старче») обычно ограничено церковной и поэтической сферой.

В македонском языке, утратившем падежи, *Бог* – одно из нескольких слов, сохраняющих реликтовую форму косвенного падежа на –а (5).

Наклонение. Со словом «Бог» и эквивалентными ему именованиями («Господь», «Христос») связано сохранение рудиментов праславянского желательного наклонения – оптатива (6), в современном русском языке совпадающего с формами повелительного наклонения. Эта форма фиксируется в очень ограниченном количестве контекстов: 1) пожелания с упоминанием имени Бога: «храни вас Бог», «упаси Бог», «помилуй Бог», «не дай Бог», «не приведи Господь», «сохрани Господь», «помогай Господь», «спаси Христос» и т.п.; 2) ругательные выражения и проклятия с упоминанием нечистой силы: «черт возьми», «черт (тебя) побери», «пропади он пропадом», «будь он проклят», «разрази меня гром» и т.п.

Диахронное рассмотрение сакральной лексики позволяет наблюдать:

- процессы сакрализации и десакрализации (напр., жизнестойкость выражений «с Богом», «ради Бога», «Бог знает что» и т.п. в языке советской эпохи (7); степень однозначности или, наоборот, десемантизованности исконно сакральных слов в определенном языке может служить показателем роли религии в культуре народа, говорящего на этом языке);

- историческое развитие сакральной лексики, т.е. как отражаются в языке изменения религиозного сознания разных народов (напр., переход слова «бог» в германских языках из среднего в мужской род после принятия христианства) (8);

- влияние сакрального характера слова на его историческую судьбу (напр., употребление слов *chapel* и *church* в ирландском варианте англ. яз., история слов «православный» и «католический» в русском и др. языках, происхождение названий дней недели в языках европейского культурного ареала).

На основании собранных в ходе исследования примеров (здесь приведены лишь некоторые) представляется возможным сделать следующие выводы:

1. Лексика сакрального значения характеризуется «отклонениями» от современных фонетических, грамматических и др. норм языка. Взгляд на данную лексику в синхронном срезе позволяет лучше понять способы влияния семантики на работу языковых механизмов.

2. Диахронное изучение сакральных слов обнаруживает сущность их «аномального» поведения в языковой системе: они сохраняют в себе более древнюю языковую норму, поскольку воспринимаются языковым сознанием как более «неприкосновенные» по сравнению с другими лексическими единицами.

3. Этнолингвистический анализ явлений, связанных с данным классом слов, дает сведения о религиозных представлениях и, следовательно, культуре того или иного народа.

Вопрос об универсальности описанных особенностей слов сакрального значения остается предметом дальнейших исследований.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. *Дьяченко Г., протонерей*. Полный церковно-славянский словарь. М., 2006. С. 54.
2. *Мечковская Н.Б.* Язык и религия. М., 1998. С. 72.
3. *Резниченко И.Л.* Орфоэпический словарь русского языка. М., 2008. С. 68.
4. Канонник, или полный молитвослов. Свято-Успенская Почаевская Лавра, 2005. С. 6. Подчеркивание наше – Г.К.
5. *Усикова Р.П.* Грамматика македонского литературного языка. Москва, 2003. С. 143.

6. *Иванов В.В.* Историческая грамматика русского языка. М., 1990. С. 351.
7. Мокиенко В.М. Образы русской речи. Историко-этимологические очерки фразеологии. СПб, 1999. СС. 197-198.
8. Chambers Dictionary of Etymology / Under the editorship of Robert K. Barnhart. 2006. P. 440.

О реконструкции праиндоевропейских глагольных категорий¹

Н. Н. КАЗАНСКИЙ (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)

Реконструкция праиндоевропейского глагола вынуждена опираться на разрозненные факты, вырванные из общего контекста, принадлежащего к определенной языковой традиции, без какого то ни было учета системных семантических противопоставлений, определяющих структуру каждого из сравниваемых языков. За последние полтора века несколько раз менялись научные парадигмы индоевропеистики от младограмматической реконструкции до исследований, учитывающих акцентно-аблаутные парадигмы (Л.Г. Герценберг. Краткое введение в индоевропеистику. СПб., 2010), однако проблема по-прежнему остается нерешенной. Например, в древнегреческом языке и в старославянском представлен сигматический аорист, в латинском языке сигматические формы прошедшего времени вошли составной частью в систему латинского перфекта. Сопоставление форм позволяет увидеть праиндоевропейское формообразовательное единство, но семантическая характеристика реконструированных форм устанавливается с большой степенью приближительности. В разбираемом примере аористным формам на *-s* можно приписать значения прошедшего времени, поскольку оно представлено во всех языках, но видовые противопоставления для латинского языка просматриваются только в паре презенс:перфект, а противопоставление видовых значений аориста и имперфекта у Гомера и Геродота прослеживается далеко не во всех контекстах, так что формы имперфекта могут передавать семантику, близкую к русскому совершенному виду.

¹ Работа выполнена в рамках гранта РГНФ № 10-04-00293а «Категории праиндоевропейского глагола».

Ситуация осложняется тем, что каждый из засвидетельствованных индоевропейских языков демонстрирует свою собственную систему противопоставлений глагольных форм. Например, хеттский язык, где присутствуют лишь формы презенса и претерита, по этому признаку резко контрастирует с санскритской или древнегреческой глагольными системами, в которых различаются формы имперфекта, аориста, перфекта и плюсквамперфекта, а также сосуществуют несколько форм для выражения будущего времени. Общие истоки глагольной системы в индоевропейских языках совершенно очевидны, но противопоставление грамматических категорий, которое наблюдается в засвидетельствованных индоевропейских языках, невозможно механически переносить на праиндоевропейский уровень: процедуры словообразовательного анализа позволяют установить различие морфологических показателей, но не развитие их грамматической семантики, хотя очевидно, что реконструкция глагольной системы праязыка неизбежно должна учитывать не только достоверно реконструируемые формы, но и их грамматические значения. Детализация противопоставлений каждой глагольной формы в рамках конкретной языковой системы может быть совершенно различной, однако устойчивые с точки зрения грамматической семантики формы присутствуют в каждом языке и могут быть использованы для характеристики «диахронической устойчивости».

С точки зрения лексической семантики глаголы могут быть поделены на сохранившие первичное значение (таковы глаголы со значением «идти», «есть», «сидеть», «стоять») и на глаголы с очевидно вторичным, производным значением: таким, например, для всех индоевропейских языков будет значение «иметь», которое для праиндоевропейского языка вообще не восстанавливается. Могла ли возникнуть смена лексического значения без влияния грамматической семантики? Это сомнительно: «схватил» в прошлом может дать в настоящем времени значение результата

этого действия (схватил и не отпустил), что в настоящем очевидным образом даст значение «держит». Лексическое значение само по себе едва ли может измениться таким образом, чтобы из «схватывать» могло получиться значение «держать». Иной случай представляет собой значение древнеиндийского «одолевать», которое может быть и развитием более раннего «схватил и одолел» в определенном контексте, но может быть также и развитием «одержал верх над кем-то», «одолел кого-то» и «овладел чем-то». В этом случае развитие лексической семантики как таковой («победил» > «овладел») по крайней мере не менее правдоподобно, нежели участие в таком развитии грамматической семантики.

Как представляется, только детальное описание лексической семантики (учитывающей и контекстуальное значение, отражающее функциональные особенности конкретных глагольных форм) при сопоставлении и с подробным анализом грамматической семантики отдельных форм в разных языках способны дать ответ на вопрос об изменениях глагольного значения.

Роль синхронии и диахронии в анализе названий русских документов

А. Н. КАЧАЛКИН (МОСКВА)

Новизна политических и экономических сюжетов на определённом этапе жизни общества, нередко порождающая хаос в синхронно оцениваемом документообороте, заставляет обращаться к документным текстам, реализующим жанры в диахронии. Именно эта процедура показывает, что жанровая система отличается не только историческими, но и типологическими качествами, которые целесообразно спроецировать в нынешнюю синхронию.

Общее понятие «жанр» относится к теории речи и входит в своём общем обозначении в любую науку о речи и речевых произведениях: в риторику, поэтику, стилистику. Понимание термина «жанр» как явления речи в принципе едино для риторики, поэтики, литературоведения, теории деловой прозы и частично для дипломатики и источниковедения. Жанром можно назвать класс произведений словесности.

Жанром *документа* называем класс документов, объединённых общей текстовой модальностью. Филологическое определение документного жанра даётся по общему обозначению класса документов.

Первым признаком жанра является его название – сильный, исключительно насыщенный семантически элемент документа. Названия жанров составляют как бы номенклатуру группировок текстов внутри деловой письменности как разновидности словесности. Этот признак является во многом определяющим, так как с названиями жанров, возникающих стихийно, соединяются вполне определённые представления об упорядоченности речевых произведений, которые не позволяют существовать ни одному произведению вне жанра.

В развитом документообороте жанр документа может и должен иметь название – определённый знак вида документа, реализующего жанр. Однако полного тождества между жанром документа и именем документа, естественно, нет. Понятие жанра значительно шире понятия имени. Вместе с тем нематериальный жанр всегда воплощается в материальном имени. Жанр независим от идеологии, а имя обычно зависти от идеологии общества и стиля жизни данного периода его развития, а нередко и напрямую отражает эту идеологию и (или) стиль жизни.

Жанровая форма – это формальное сходство, обычно являющееся воплощением вполне сложившегося содержания. Смысловым признаком жанра является определённый тип отношения содержания к действительности, или модальность в широком смысле слова, модальность текста как внутренне единого произведения словесности. Модальность – это отношение текста к действительности, заданное ему автором и оцениваемое читателем.

В разное время и в разных канцеляриях могут образовываться и реально образуются близкие по модальному содержанию виды документов. Они обладают определённым сходством оформляющей и содержательной частей, что позволяет объединить виды документов разных канцелярий в один жанр: *грамота* и *приказ*, *память* и *предписание*, *ропись* и *список*, *жалобница*, *челобитье*, *прошение*, *заявление*.

Через названия, взятые в определённой системе, открываются целые пласты русской истории. Будучи представителем и заместителем целого документа, название в его полном объёме (например, *сговорная полюбовная противная запись* и др.) позволяет представить проблемно-тематическое содержание документа, а через него и само дело. Это хорошо чувствовали и осознавали на свой лад составители ранних деловых текстов: они выбирали наиболее необходимые, наиболее стабильные слова и фор-

мировали из них письменную речь в ясных и кратких выражениях, а ведущую роль при этом занимали ключевые слова, именно ими формулировалось название делового текста в целом. С XI до XIV века, когда тексты деловой прозы представляли собой нерасчленённые виды лишь тематически различаемого делового письма, ключевыми словами были именовании темы: в XI веке это *устав* князя, в 1223 – 1225 гг. – документ с названием *ряд*, в 1257 г. – *владельница*, в 1262 – 1263 гг. – *правда*, в 1362 г. видим документ с названием *докончание*, окончательно оформлявший после переговоров дипломатическое отношение (обычно мирный договор). В 1375 г. впервые встречаем документ с названием *запись*, получивший со временем широкое распространение. В этом же году отмечаем *целование* – клятвенное обещание, присягу, при которой целовали крест и каждая из сторон брала документ со словами такого клятвенного обещания. В 1386 г. – деловой текст с названием *сведоцтво* – свидетельство, документ, служащий доказательством известных прав или удостоверением определённого состояния, положения человека или положения вещей.

С XIV века стандартизованный тип модальности реализуется определённым жанром: *запись, грамота, память, роспись* и другими подобными. Исторически имя документа формируется и используется как средство для обособления определённого типа делового текста во имя его рационального функционирования. Названия документов – это как бы извлечённые из текста дескрипторы, имя документа опирается на ключевые слова текста, преимущественно глаголы, и образует с ними теснейшую семантическую связь. В названиях документов глагольная лексика трансформируется в именную: *целовальная грамота* (1416 г.), *рядная и дельная грамота* (до 1472 г.), *верющая грамота* (до 1588 г.), *владенная выпись* (1635 г.), *верстальная память* (1573 г.), *венчальная память* (1628 г.) – все эти и подобные

определения к имени жанра соотносятся по смыслу с соответствующими глаголами в тексте, образованы от их корней.

В синхронном срезе XV века видим такие новые жанры, как *отпись* – ‘расписка в приёме денег, имущества’ (начало XV века), *кабала* – ‘документ, устанавливающий правовую зависимость одного лица по отношению к другому, уступку прав’ (1447 г.), *грамота* в новом значении ‘распорядительного документа из центральных учреждений местным учреждениям и должностным лицам’. Богато представлены наименования новых жанров в синхронном срезе XVI века, а вот синхронное рассмотрение документных названий в XVII веке, особенно в его второй половине, показывает рост семантических неологизмов, новых значений у функционировавших уже и прежде документов типа *память*, *ропись*, *выпись*, *отпуск*, *выбор*, *сказка*, *приговор* и других подобных.

Ещё в большей степени жанр документа представлен диахронически: сквозь века определённый жанр реализуется стандартизованным типом модальности. Структура жанра и большинство ключевых слов реализуются в разные эпохи достаточно сходно. Проанализированный на разных синхронных срезах фактический материал позволяет судить о том, что через состав самоназваний отдельных документов вырисовывается картина становления и оформления документных жанров. История жанров любой канцелярии (приказной, коллегияльной, министерской) даёт понять, что названия видов и разновидностей документов изменяются со старых на более современные, отвечающие стилю времени. Таким образом, изменение названий документов – показатель стиля времени. Новый стиль требует новых названий, но сущностно-модальное содержание жанра при этом остаётся. Число новых жанров век от века растёт, и это заметно, в первую очередь, на синхронических срезах, но приёмы диахронии, типологическое сопоставление документов разных эпох показывают, что число и характер

документных жанров принципиально однородны и не зависят от стилевых перемен. Именно диахрония позволяет в первую очередь представить себе отражающие ключевое содержание текстов разные наименования жанров, через них – состав ключевых слов, вокруг которых формируется и синтаксис этих базовых текстов: наиболее регулярные конструкции и структуры.

Внимательное рассмотрение деловых текстов разных эпох в синхронии и диахронии позволяет определять ключевые понятия деловой жизни определённой эпохи, конструкции и структуры деловых текстов и вместе с тем даёт возможность построения метаязыка документных систем, что, очевидно, станет одной из задач филологии ближайшего времени.

О названии берберского племени «Кабилы»

Е. В. КАШКИНА (ВОРОНЕЖ)

Сегодня, сопротивляясь глобализации, люди ищут духовную опору в собственных корнях, например в объяснении названий своей страны и города, племени и народа. Самоназвание народа восходит к различным понятиям, с которыми народ связывает себя, выражая свой идеал совершенства.

В своем имени народ чаще всего утверждает: мы – люди, свои, в отличие от других, чужих, – и называет свои отличительные качества. Большую часть славянских этнонимов составляют названия, образованные от местности обитания и связанные с ландшафтом или гидронимами. Порой народ принимает на себя имя великого предка, ставя себе его жизнь в пример. Большинство из толкований спорны и ждут своего объяснения и уточнения.

На земле осталось не так много реликтовых народов, сохранивших архаичные традиции и язык. На обширной территории более чем десяти государств Северной Африки проживает народ, известный с глубокой древности под именем берберов. Правда, трудно объединить в одно целое голубоглазых шатенов и русских горцев Атласа с темнокожими жителями пустыни и сахеля. Их объединяет язык. Количество племен более трехсот.

Наше внимание привлекло название самого влиятельного и красивого племени – кабилов. Кабилия – название горного района на востоке Алжира. Кабилы – одна из самых крупных племенных конфедераций, которая сохранила в наибольшей чистоте свой антропологический (европеоидный) тип, доисламские традиции и язык.

Название «кабилы» для обозначения группы горных племен появляется у европейцев в виде Cabaïlles. Затем оно встречается у исследовате-

лей как Cabails для описания коренного берберского населения севера и востока Алжира.

Кабилы пытаются объяснить свое имя, опираясь на родной язык. Написание в форме "K B Ayel" под влиянием арабского языка (с "b" в корне из-за отсутствия буквы "v" в арабском алфавите) по-кабийски произносится "K V Ayel" и означает "прежде, чем они; те, кто впереди" как относящееся к коренным народам, предшественникам арабов.

Самая распространенная версия толкования названия кабилы из арабского языка – qabila, al-qabila – племя и во множественном числе al-qabail – племена. Многие кабилы восприняли эту версию и называют свою родину tha-murth l'qvayel (страна кабилы).

В классическом арабском djebel означает «гора», djebel становится gebel и так же звучит в гетульских диалектах (влияние юга), затем gebel становится qebel, возможно, под влиянием северных говоров, в том числе кабийского. Для консонантизма большинства берберо-ливийских языков характерна серия увулярных *h, *kh, *k.h, *gy – как g, k, y, u. В итоге видна цепочка: djebel-gebel-qebel-гора, а жители кабилы – горцы.

Сравнительно-историческое языкознание стимулировало появление целого ряда близких направлений в литературоведении, религиоведении, мифологии. Мифы и предания разных народов говорят о существовании единого пратгноса и единой культуры. Древний именослов и корнеслов таят множество неразгаданных тайн. Кто знает, какого корня, к примеру, русская кобыла? Многие ли узнают в ней древнюю фригийскую Матерь богов – Кибелу! (Трубачев). Кельтская Эпона, русская кобыла, древняя Кибела... Возможно в народной, "сниженной" лексике, как слово "кобыла" или "дулебная баба", являлось когда-то самым что ни на есть аристократическим – именем богини (Кибела), именем народа (дулебы). Почему бы не предположить, что и этноним «кабилы» гораздо архаичнее и явился самоназванием «детей» Кибелы?

Кибела покровительствовала плодородию почвы, скота и людей. Кабилы – оседлое племя, это земледельцы и садоводы, зависящие от погоды и урожая. Т.о. Кибела олицетворяла землю как великое всепорождающее начало. В связи с заботой Кибелы о плодородии почвы, земледельцы обращались к ней с молитвой об увеличении урожая с полей и виноградников. Во-вторых, Кибела – горное божество. В горах располагались ее святилища, посвященные ей леса и рощи. Горы символизировали темный, необузданный элемент хаоса в мифологеме Кибелы. Тому же символу, которому поклоняются в Каабе в Мекке, также поклоняются как святыне в Индии. Храм римской богини Кибелы – Богини-Матери – располагался в Риме, теперь там расположен Ватикан. Она – воплощение святого союза Бога и Богини еврейской Кабалы. Поклонение Кибеле проникло также и в Северную Африку. В Мавритании, после пожара, священнослужители и поклонники восстановили храм Кибелы и Аттиса-288 г н.э. В Сетифе (Алжир) – город в горной Кабилии – был храм Кибелы и ее статуя.

Отголоски ее влияния видны в магии древних славян с почитанием Солнца, празднованием Купалы (похоже на Кибелу, да и функции практически те же). Есть версия, что слово «купол» происходит от названия русской богини Кубелы или Купала. Минимальная власть зимы и максимальная власть лета приходится на ночь с 21-го на 22-е июня. Этот день в русском языке называют «Купало». Этимология слова «купало» уходит корнями в общеностратическую глубину и обозначает «купол», то есть «верх». Кабилы также отмечают праздник Ансара или день летнего солнцестояния, который имеет фиксированную дату – 24 июня, т.е. отмечается по солнечному календарю. Он включает в себя возжигание костров, сопровождается специальными песнопениями, ритуальным окроплением водой в засушливых районах и массовыми купаниями в море в прибрежных селениях.

Критерии генеалогической классификации тюркских языков

А. С. КИТАЕВ (МОСКВА)

В настоящей работе делается критический обзор существующих вариантов генеалогической классификации тюркской языковой семьи, а также предварительный подбор и оценка значимости классификационных критериев. Целью работы является демонстрация возможности построения генеалогической классификации тюркских языков иной по сравнению с существующими.

Тюркская языковая семья относится к числу наиболее проблематичных для генеалогической классификации. Преобладающее число классификаций совмещает лингвистические критерии с историческими или географическими. Наиболее известной из них является классификация, сделанная Н.А. Баскаковым.

Для лингвистической классификации важно уметь определять исторические и современные языковые контакты и отделять их результаты от истонных совпадений, а также от изоглосс, развившихся независимо, но давших похожие или одинаковые результаты. В противном случае может быть подгонка под результат. Для более точных результатов необходимо выявление признаков (и даже хотя бы одного признака), указывающих на древность языка или языковой группы А по отношению к языковой группе В, разделяющейся на ряд более близких языков или диалектов, в частности, вычисление несвязанных изоглосс. В результате такой процедуры независимо от их количества несвязанные изоглоссы исключаются при сравнении групп. Кроме того, нужно уметь выявлять признаки, развившиеся в конкретной группе вторично и потому не указывающие на древность. Эти признаки также при сравнении групп должны исключаться. Необходимым является построение иерархии признаков: от признака, указывающего на

древнейшее разделение, до мелких признаков, разделяющих выявленные группы на подгруппы. При этом хотя бы в одной из групп (подгрупп) все выбранные признаки должны быть значимыми.

Например, в классификации Н.А. Самойловича при сохранении выделенных им таксонов (с учетом и современных поправок) и иерархии признаков соотношение значимых и обнуляемых критериев выглядит так (оригинал см. в [Самойлович 2005: 77—91]).

Табл. 1. Классификация тюркских языков по Н.А. Самойловичу
с иерархией признаков

критерий	*ǵ		*bol			
группа	> r/z	*-d-, -d	‘быть’: -b /+b-	-aǵ	-ǧ	-ǧAn
булгарская	r	0 (r)	0 (+)	0 (-u = - au)	0 (-ǧ)	0 (-ǧI)
уйгурская: древнетюркская, саян- ская, якутская, хакас- ская, карлукско-уйгур- ская, в т.ч. аргу (ха- ладжский)	z	D	0 (+)	0 (-aǵ)	0 (-ǧ)	0 (- ǧAn)
огузская	z	j	-	0 (-aǵ)	0 (-ǧ)	0 (-An)
кыпчакская, киргизско- кыпчакская	z	j	+	-AU	0 (-ǧ)	0 (- ǧAn)
огузские диалекты узбекского	z	j	+	-aǵ	-ǧ	0 (- ǧAn)
карлукско- хорезмийская, север- ноалтайская	z	j	+	-aǵ	-ǧ	0 (- ǧAn)

В пределах большой группы *d* (уйгурской) важным является признак конкретной реализации звука. В пределах большой группы *j* значимость признака суффикса *-ǵan* можно было бы увеличить при постановке его после признака формы глагола 'быть'. Эти два признака фактически были бы равноправны.

Рассмотрим классификацию тюркских на основе следующей предварительной подборки признаков.

Табл. 2. Классификация тюркских языков
на основе предварительной подборки признаков

критерий	*ǵ r/z, r	- LAR - /+	-I/-sI gram/ phon	сохранение долгого гласного во втором слоге		оглушение звонких после сонантов -/+	pal/vel		*_ d-, *_ d
				*sinǵok: long/short	*bVńǵǵor: ō/U, I		ld > lt, nd > nt, rd > rt	*bVńǵǵor *til/tl	
булгарская	r	-	gram	0	0	0 (+)	0	0	0 (r, j, D)
якутская	z, r	+	phon	long	ō (= uo)	0 (-)	0 (vel)	0 (vel)	0 (t)
огузская	z, r	+	phon	short	U, I	-	0 (vel)	0 (pal)	0 (j)

саянская	z, r	+	phon	short	U, I	+	vel	vel	0 (d)
древне-тюркская	z, r	+	phon	short	U, I	+	?	pal	D
хакасско-уйгурская	z, r	+	phon	short	U, I	+	pal	pal	D = d, ð, z
карлукско-кыпчакская	z, r	+	phon	short	U, I	+	pal	pal	j

1. Булгарская группа отделяется от собственно тюркской сразу по трем признакам: последовательному ротацизму, отсутствию формы т.н. множественного числа на -LAR и грамматическому распределению двух показателей принадлежности. Классификационными признаками булгарской группы не являются чередование ламбдаизма и сигматизма (чередование такое по принципу Е.А. Хелимского наблюдается во всех тюркских подгруппах и отличается в булгарских лишь наибольшей регулярностью, см. [Хелимский 2000: 248, 256—257, 266]), второй ротацизм и чередование *r* // *d*, аналогичное чередованию *d* // *t* в орхоно-енисейском, смягчение зубных перед узкими неогубленными гласными. В то же время мы не можем утверждать о значении общетюркского -LAR как показателя именно множественного числа.

2. Якутская группа отделяется по признаку сохранения долгих гласных во втором слоге (и, возможно, в следующих). В значительном ряде слов мы обнаруживаем долгие гласные за пределами первого слога при отсутствии аналогичной долготы в туркменском. Причем, например, в тюркских коррелятах слова *унуох* 'кость' идет чередование узких и широких гласных, но в коррелятах слова *мойуос* (*модьюос*, *муос*, *моос*) второму широкому гласному в якутских соответствует узкий гласный в остальных тюркских. Этот факт соответствий нуждается в объяснении, но незаслуженно игнорируется, не рассматривается в существующих классификациях, хотя именно он мог бы быть основанием для отделения якутских диалектов от остальных тюркских групп, в частности, от саянской или тем более хакасской или карлукско-уйгурской, в то время как отпадение начального *s*- или развитие в *t* звуков *d*, *z*, *s*, *š* критериями, выделяющими якутскую группу, не являются, поскольку, видимо, развились уже после обособления.

3. Огузские языки, производящие на первый взгляд впечатление ближайших к карлукско-хорезмийским, кыпчакским и, вероятно, центрально-восточным (горноалтайским) – из-за *j*, могут на деле оказаться вторыми по времени отделения после якутских. Во всяком случае, такой напрашивается вывод из-за отсутствия оглушения звонких после сонантов (чаще всего это *ld*, *nd*, *rd* > *lt*, *nt*, *rt*), отмеченного еще в древнетюркских и распространенного в той или иной степени в остальных тюркских, особенно в регионах, ближайших к предполагаемому месту распространения древнетюркской речи. Отсутствие аналогичного оглушения в якутских и предполагаемое наличие в булгарских – признаки незначимые.

4. Саянские языки отделяются от оставшихся тюркских сохранением твердых гласных в слове 'рог' (*мыйыс*). В хакасских, карлукско-уйгурских (в халаджском не отмечено), карлукско-хорезмийских, кыпчакских и цен-

трально-восточных передний ряд, в древнетюркских слово это не обнаружено.

5.Хакасско-уйгурские и карлукско-кыпчакские, рано, по-видимому, разделившиеся, противопоставляются друг другу по признаку реализации пратюркского интервокального и конечнослогового **d*. В хакасско-уйгурских зубные рефлексy *d, z, ǰ*, в карлукско-кыпчакских *j*. Древнетюркские (орхоно-енисейский, уйгурский рунический, енисейско-кыргызский) имеют зубные рефлексy, но данных по этой языковой группе для установления ближайших родственных связей недостаточно.

В результате проведенной подборки критериев с их анализом оказалось, что огузские языки не являются ближайшими к остальным языкам группы *j*, а кроме того, карлукские языки новой формации не противопоставлены кыпчакским, а составляют с ними одну подгруппу, в то же время саянские и якутские языки, несмотря на зубные рефлексy пратюркского интервокального и конечнослогового **d*, не являются ближайше родственными хакасским, а также между собой (и кроме того – якутские отделяются вторыми после болгарских от тюркских), ближайшими к хакасским являются карлукские старой формации, представленные на сегодняшний момент только аргу (халаджским). Отсутствует специфическое единство и между карлукскими старой и новой формации. Для определения родственных связей древнетюркских на данный момент недостаточно информации, но максимальное сходство с ними демонстрируют хакасско-уйгурские и карлукско-кыпчакские.

Примечание. Разделение выделенных таксонов на более глубоком уровне делается по локальным критериям, но в тех случаях, когда нет достаточных лингвистических критериев, приходится прибегать к косвенным лингвистическим, историческим и географическим данным (например, для доказательства огузского характера печенежского или болгарского, вероят-

но, волжско-камского характера хазарского; обособленность саларского от остальных огузских тоже демонстрируется в основном на исторических критериях).

Литература и источники

1. Ашмарин Н.И. Материалы для исследования чувашского языка. Казань, 1898.
2. Баскаков Н.А. Тюркские языки. М., 1960.
3. Диалекты тюркских языков. Очерки. М., 2010.
4. Дыбо А.В. Лингвистические контакты ранних тюрков: лексический фонд: пратюркский период. М., Вост. лит. 2007.
5. Мудрак О.А. Классификация тюркских языков и диалектов с помощью методов глоттохронологии на основе вопросов по морфологии и исторической фонетике. М., РГГУ. 2009.
6. Самойлович А.Н. Тюркское языкознание. Филология. Руника. М., 2005.
7. Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков. Региональные реконструкции. М., 2002.
8. Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков. Пратюркский язык-основа. Картина мира пратюркского этноса по данным языка. М., 2006.

Следы индоевропейских гетероклитических основ на *-wer/n- в древнеармянском языке

П. А. КОЧАРОВ (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)

1. Доклад посвящен проблеме вариативности отражения индоевропейских именных основ на *-wer/n- в древнеармянском языке, а также моделям именной деривации от указанных основ.

Обращают на себя внимание следующие варианты отражения индоевропейских основ на *-wer/n- в древнеармянском языке:

а) др.-арм. *neard* ‘жила’ < и.-е. *sneh₁-wṛ-tí-, др.-арм. *leān* ‘гора’ < и.-е. *leh₂-wṛ-nó- (Nikolaev 2010), др.-арм. *gełardn* ‘копье’ < и.-е. *welh₁-wṛ-tí-;

б) др.-арм. *aliwr* ‘мука’ < и.-е. *h₂léh₁-wṛ-, др.-арм. *atbiwr* ‘источник’ < и.-е. *bréh₁-wṛ-;

в) др.-арм. *hur* ‘огонь’ < и.-е. *ph₂-úr-, др.-арм. *sur* ‘клинок’ < и.-е. *kh₃-úr-.

В приведенных примерах деривационной базой служит основа прямых падежей с исходом на *-r-; основа косвенных падежей *ph₂-un- засвидетельствована в др.-арм. *hnoc* ‘печь’. Как видно из приведенных примеров, развитие группы согласных *-wṛ- зависит, в частности, от места ударения (ср. Kortlandt 1993; Veridaz 2001-2002). Таким образом, процессы внутренней и внешней деривации, связанные со смещением ударения, разобщи́ли класс гетероклитических основ на *-wer/n-, который оставался продуктивным, по-видимому, еще в протоармянский период.

2. В рамках рассматриваемой проблематики будет предложена новая интерпретация происхождения древнеармянского суффикса -*ownd*, засвидетельствованного в словах *cnownd* ‘(по)рождение’, *serownd*

‘потомок’ и *snownd* ‘кормление’. От корней *cin-* и *sin-*, относящихся к индоевропейскому наследию, образованы глаголы *cnanim* ‘рождать’ и *snanim* ‘кормить’ с медио-пассивным вариантом транзитивного суффикса *-ane-* в презенсе (Klingenschmitt 1982; Rix 2001). Грамматическое значение глагольных основ, при этом, определенным образом коррелирует со значением именного суффикса.

В отличие от предлагавшейся ранее интерпретации (Greppin 1975: 139-140; Lühr 2008: 364; Olsen 1999: 608-610), на наш взгляд, *-ownd* следует возводить к форманту **-un-ti-*, производному от унаследованной гетероклитической основы, а не к индоевропейскому суффиксу активного причастия на **-nt-*. Аналогичное вторичное образование от основы косвенных падежей имен на **-wer/n-* засвидетельствовано, например, в мл.-ав. *pauruuatā* ‘горный’ < и.-е. **per-wr̥-tó-*.

С точки зрения деривации, семантическая параллель между *aiw̥r* ‘источник’ < и.-е. **bréh₁-wr̥-* и *snownd* ‘(по)рождение’ < и.-е. **ġen_h1-wr̥-tí-*, где *-ti-* – вторичный субстантивизирующий суффикс, кажется достаточно близкой. На наш взгляд, в обоих случаях речь идет о пережитках базовых значений праиндоевропейских гетероклитических основ – значения неодушевленного субъекта, производящего неволеитивное действие («вода», «огонь», части тела и проч., ср. Fridman 1999), и абстрактных понятий действия (например, «исток»).

Библиография:

1. Fridman, Jay. 1999. A Lexical Analysis of Simple **-r/n-* Heterocclisis in Proto-Indo-European // *UCLA Indo-European Studies*, Vol. 1. Los Angeles.
2. Greppin, John A. C. 1975. Classical Armenian Nominal Suffixes. Wien.

3. Klingenschmitt, Gert. 1982. *Das Altarmenische Verbum*. Wiesbaden.
4. Kortlandt, Frederik. 1993. Intervocalic *-w- in Armenian. *Annual of Armenian Linguistics* 14, 9-13.
5. Lühr, Rosemarie. 2008. Nominale Wortbildung des Indogermanischen in Grundzügen. Hamburg.
6. Nikolaev, Alexander. 2010. Time to gather stones together: Greek *λᾱαζ* and its Indo-European background. *Proceedings of the 21st Annual UCLA Indo-European Conference* / edited by C. Melchert, B. Vine, and S. Jamison. Bremen: Ute Hempen Verlag.
7. Olsen, B. A. The Noun in Biblical Armenian: Origin and Word-Formation: With Special Emphasis on the Indo-European Heritage. Berlin, New York: Mouton de Gruyter (Trends in linguistics. Studies and monographs 119).
8. Rix, Helmut et al., eds. 2001. *Lexicon der indogermanischen Verben*. 2nd ed. Wiesbaden: Reichert Verlag.
9. Viredaz, Rémy. 2001-2002. Sur le traitement arménien des sonantes voyelles. *Slovo* 26-27 (Actes du 6^e CILA, 5-9 juillet 1999, Inalco): 24-36.

Становление аспектно-временной и модусной системы в праиндоевропейском

К. Г. КРАСУХИН (МОСКВА)

0. Происхождение аспекта и времени остаётся в высшей степени дискуссионным. Дело в том, что соответственные системы (АТМ – *aspectum-tempus-modus*) индоевропейских языках слишком разнообразны. В некоторых, как в хеттском, присутствуют только два времени (презент и претерит) и два модуса (индикатив и императив), в других (ведический санскрит) – 6 времён и 8 наклонений. В большинстве индоевропейских языков противопоставлены две или три временные глагольные основы, в анатолийских – только одна. При этом богатство основ хеттского глагола сопоставимо с греко-арийской системой.

0.1. Существуют три принципиально различные точки зрения на вопрос о происхождении АТМ.

0.1.1. АТМ была присуща общеиндоевропейскому языковому состоянию.

0.1.2. АТМ развивалась в отдельных языковых ветвях. При этом система аспекта в действительности развилась только в древнегреческом и славянском. Более мягкий вариант: АТМ стала развиваться после отделения анатолийской ветви языков.

0.1.3. Зачатки АТМ возникли в общеиндоевропейском состоянии и развились в отдельных ветвях.

1. Прежде всего надо отметить, что время и наклонение являются наиболее общими, универсальными характеристиками глагола: любой речевой акт помещает высказывание в какую-то временную точку, любой речевой акт содержит, хотя бы имплицитно, отношение говорящего к высказанному. Поэтому можно утверждать, что какие-то

категории времени и наклонения в праиндоевропейском должны были существовать. Задача исследователя – проследить происхождение их морфологических показателей.

1.1. Оппозиция времени традиционно связывается с первичными/ вторичными окончаниями: первые обозначают, что событие реально и происходит в момент речи, вторые такого значения не имеют. Но в церковнославянском аористе возможны первичные окончания (*бысть*); в гомеровском греческом и ведическом санскрите они употребляются при конъюнктиве; следы первичных окончаний находятся в латинском перфекте. Оппозиция первичных/ вторичных окончаний изначально противопоставляла, по-видимому, действие первого плана, выделенное говорящим, второплановому действию.

1.2. Другая важная оппозиция – презенса-аориста и перфекта – носила, по-видимому, сначала скорее залоговый характер (действие vs. состояние). Но одна из разновидностей перфектной флексии, лёгшая в основу тематического спряжения, стала обозначать длительное действие и также послужила прототипом презенса.

2. Одним из важнейших грамматических способов праиндоевропейского языкового состояния было правостороннее передвижение акцента. В глаголе оно носило скорее залоговый характер (баритонные глагольные формы указывали на внешнюю деятельность, окситонные – на внутреннее состояние). Однако многие основы презенса и аориста одного корня различаются аблаутом. Определённой связи ступени с временной основой нет; от вариантов одного корня образуются различные типы основ. Ср. праслав. **rycъ* (презенс)/ **perti* (аорист) и **percъ* (презенс)/ **pyrati* (аорист). Можно сформулировать только правило поляризации: если та или иная временная основа имеет определённую ступень вокализма, то в другой основе может появиться иная

ступенью. Презенсу в полной ступени соответствует аорист в нулевой, и наоборот.

2.1. Апофония – не единственный способ образования временных основ; существуют специальные суффиксы презенса и аориста. Но аспектуальный характер некоторых из них неустойчив. Таким образом, надо полагать, что в праиндоевропейском происходило становление системы аспекта-времени. Окончательное развитие она получила в истории отдельных групп языков.

3. Суффикс конъюнктива *-e-/o- формально тождествен тематическому гласному и, по-видимому, имеет то же происхождение. В ведическом и (как пережиток) в гомеровском греческом существуют тематические глагольные формы в функции как индикатива, так и конъюнктива. Можно реконструировать для праиндоевропейского особую категорию – эвентуальный (проспективный) модус, обозначающий возможность, способную реализоваться.

3.1. Таким образом, система модусов в праиндоевропейском тоже находилась в процессе становления.

Библейские прототипы в языковедческих и лингвополитических концепциях

С.Н.КУЗНЕЦОВ (МОСКВА)

Предлагаемый доклад представляет собой фрагмент исследования о библейских образах, которые служили прототипом (т.е. отправной точкой или подсказкой) при создании научных и социальных концепций. Примером такого прототипа может служить библейская генеалогия народов, согласно которой все ныне существующие народы восходят к сыновьям Ноя: Сим дал начало народам востока (семитам), Хам – народам юга (хамитам), а Яфет – народам севера и запада (яфетидам). В этом прототипическом образе заложена идея дивергентного развития народов и соответствующих им языков: генеалогические линии разветвляются, что приводит к расщеплению племен и обособлению языков. Уже древние комментаторы Библии насчитывали 72 отдельных народа, возводимых к племенам Симы, Хама и Яфета.

Со Средних веков идет традиция «дописывания» библейской генеалогии, чтобы можно было включить в нее народы, позднее других вошедшие в историю. Так, «Повесть временных лет», повторяя библейский рассказ о разделении первоначального человечества на племена Симы, Хама и Яфета (Иафета), а последних на 72 языка, утверждает, что «от племени Иафета» произошли «так называемые норики, которые и есть славяне».

Библейская генеалогия и основанные на ней этногенетические легенды заставляли лингвистов еще во времена становления сравнительно-исторического языкознания искать корреляции между этническими и языковыми группами, так что генеалогическая классификация

языков является прямо производной (хотя и не тождественной) библейской генеалогии народов.



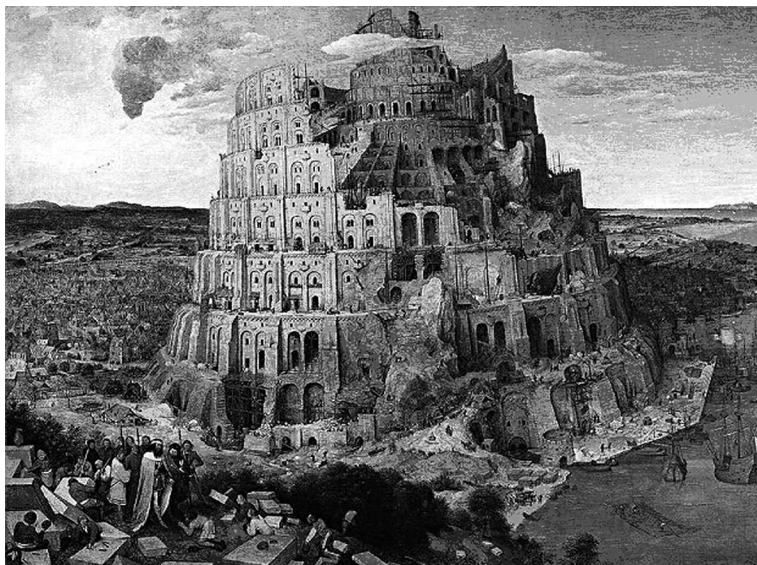
Термин «семитские языки» переносится в лингвистический контекст непосредственно из библейского в 1787 г., что потянуло за собой и смежные библейские термины – хамиты и яфетиды (правда, за последними после ряда колебаний утвердился иной термин – «индоевропейцы»).

Н.Я. Марр на ранней стадии своего научного пути заставил библейские термины вновь проделать подобную эволюцию. Стремясь

доказать родство грузинского языка с семитскими, а через них – и с хамитскими, Марр естественным образом пришел к тому, чтобы именовать грузинский и близкородственные ему языки Кавказа «яфетическими», раз уже этот термин остался вакантным после того, как уступил место термину «индоевропейские языки». Марр при этом делает еще один шаг, вводя обобщающий термин для всех трех групп родственных, по его мнению, языков (семитских, хамитских и «яфетических»): он объединяет их под общим названием «ноэтические языки» (от имени Ноя). В статье «Яфетиды», вышедшей в журнале «Восток» в 1922 г. (кн. I, с. 82–92), Марр писал о своих исследованиях: «Раз родство грузинского и родственных с ним языков с семитическими было установлено, а с семитическими языками приводились в родство хамитические, не оставалось другого выхода, как назвать вновь определяющуюся группу языков, расположенную на Кавказе, по имени третьего оставшегося брата – Яфета. Это можно было сделать тем легче, что лингвистически такое общее название ни к чему не обязывает. В такой, совершенно условный, термин можно вносить все то значение, которое определится успехами исследований, и в зависимости от них совершенно менять его смысл. Это уже произошло» (цит. по: Марр Н.Я. Избр. работы, т. I. – Л., 1933, с. 127).

Действительно, это и «произошло»: сойдя с почвы сравнительно-исторических исследований, Марр приступил к сооружению марксистского языкознания и внес в термин яфетические языки (который он характеризует как «совершенно условный» и позволяющий «совершенно менять его смысл») новое содержание, которое полностью порывало с библейскими истоками, но от этого, правда, несколько не приблизилось к марксизму.

Почти одновременно со статьей Марра появилась в печати и работа уехавшего из России Н.С. Трубецкого «Вавилонская башня и смешение языков» (Евразийский временник, кн. 3, Берлин: Евразийское книгоиздательство, 1923, стр. 107-124).



В противоположность Н.Я.Марру, Н.С.Трубецкой не только не заглашает связь образа Вавилонской башни с исходными библейскими текстами, но всячески актуализирует эту связь и строит на ее базе целую систему постулатов, некоторым из которых приписывается сила моральных императивов. Трубецкой считает, что человечество обременено ответственностью не только за первое грехопадение, случившееся по вине Адама и Евы, но за второе «коллективное грехопадение всего человечества», выразившееся в стремлении превзойти Творца постройкой Вавилонской башни. Смешение языков и возникновение

разноязычия, по Трубецкому, есть «кара за вавилонское столпотворение». Он пишет:

Смешение языков, т.е. установление множественности языков и культур, рисуется в Священном Писании именно как кара, как Проклятие Божие, аналогичное проклятию "труда в поте лица", наложенному в свое время на человечество в лице Адама.

(...) закон диалектического дробления и неизбежной множественности национальных культур (...) служит препятствием для осуществления многих человеческих намерений и идеалов, влечет за собой часто войны, национальную вражду, притеснения одних народов другими (...)

Вместе с тем Трубецкой считает, что наказание человечества разделением языков в конечном счете идет на пользу людям, так как стимулирует развитие различных национальных культур и предохраняет человечество от всеобщей обезличенности в рамках всемирной культуры:

(...) в однородной общечеловеческой культуре логика, рационалистическая наука и материальная техника всегда будут преобладать над религией, этикой и эстетикой, (...) в этой культуре интенсивное научно-техническое развитие неизбежно будет связано с духовно-нравственным одичанием. Не облагороженная духовным углублением логика и материальная техника, высушивая духовно одичавшего человека, и то же время не только не облегчают, но затрудняют ему путь к истинному самопознанию и укрепляют в нем гордыню. И, таким образом, однородная общечеловеческая культура неизбежно становится безбожной, богоборческой, столпотворенческой.

В течение XX в. идея разноязычия как божественной кары претерпевает радикальные изменения. Установление разноязычия все

чаще истолковывается в смысле, благоприятном для человечества, превращаясь в идею благотворения (т.е. меняя знак на противоположный). Японский ученый Катухико Танака писал в 1987 г.: «То, что люди говорят не на общем языке, а на отдельных языках и, за исключением небольшого числа билингвов, принадлежат к определенному языковому сообществу, – это, согласно немецкому лингвисту Лео Вайсгерберу, фундаментальный принцип человеческого существования. Правда, различие человеческих языков рассматривалось, особенно в европейской традиции, как великое несчастье. Это мы видим уже на примере легенды о вавилонском смешении языков. Но Вайсгербер, у которого я в свое время учился, придумал современный вариант мифа, по которому различие языков – это дар Бога, помогающий нам сохранять интерес друг к другу».

Конечно, при таком понимании разноязычие из зла обращается в благо.

В конце XX в. на человечество надвинулся призрак грядущей глобализации, готовой стереть национальные границы и установить некое подобие всемирной империи. А значит – впервые возникла реальная угроза вообще утратить разноязычие, будь оно злом или благом. Эта перспектива заставила вновь обратиться к библейскому образу, ибо титанические очертания Вавилонской башни, которая, по Библии, была делом всего человечества, неожиданно вошли в резонанс со смутными контурами воздвигаемого глобального сооружения.

Идет строительство Европы. С этим связываются большие надежды. Их удастся реализовать, только учитывая исторический опыт: ведь Европа без истории была бы подобна дереву без корней. (...) Мы стремимся приблизиться к ответу на глобальные вопросы, которые волнуют сегодняшних и будущих творцов Европы, равно как и

всех людей в мире, кому безразлична ее судьба: «Кто мы такие? Откуда пришли? Куда идем?»

Этими словами предваряется книга итальянского ученого и писателя Умберто Эко «Поиски совершенного языка в европейской культуре» (1993, рус. пер. 2007). Книга вышла в рамках международной серии «The Making of Europe». На русский язык это переведено как «Становление Европы», но такой перевод неправомерно смещает акценты: слово «становление» вызывает образ самопроизвольного процесса, подобного естественному росту. В английской же версии (и аналогично на других европейских языках: ит. Fare l'Europa – фр. Faire l'Europe – исп. Construcción de Europa – нем. Europa Bauen) акцент сделан именно на сознательном созидании, строительстве. Прообраз здесь не только не скрывается, но даже сознательно помещается на передний план: речь идет о построении новой Вавилонской башни!

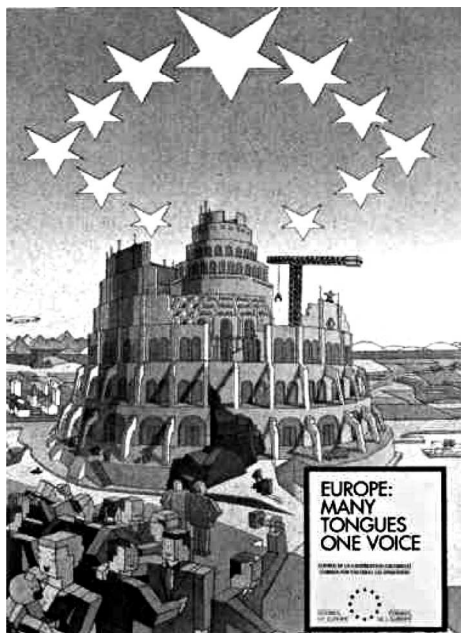


Образ Вавилонской башни глубоко внедрен в сознание строителей новой Европы, но уже в толковании, далеко отошедшем от библейского прототипа. Наиболее значимый пример – новое здание Европарламента в Страсбурге. Это не только здание, это «евроконцепт», в основе которого лежит сознательное уподобление строительства Европы возведению Вавилонской башни. В основу архитектурного проекта была положена картина Питера Брейгеля, изображающая недостроенную Вавилонскую башню (1563 г.). Здание Европарламента выглядит так, будто оно не везде доведено до последнего этажа, т.е. недостроено на разных уровнях. На самом же деле – это вполне завершенное, действующее строение, законченное в декабре 2000 г.

В Интернете можно обнаружить коллаж, авторы которого вполне правомерно совместили картину Брейгеля с изображением Европарламента:



Идея создания Евросоюза рекламировалась с помощью плаката, созданного по образцу той же картины П.Брейгеля. Девиз на плакате (на английском языке) гласит: «Европа: много языков – один голос».



Таким образом, строительство глобальной цивилизации (а следовательно, и проведение мировой лингвополитики) явным образом устремляется к новому миропорядку, в котором не будет места понятиям греха и воздания и где, как предвидел Н.С.Трубецкой, «логика, рационалистическая наука и материальная техника» смогут преобладать «над религией, этикой и эстетикой».

Эстонско-ливские акцентные соответствия и метатония а-основ в истории ливского языка

В. С. КУЛЕШОВ (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)

Стопические акцентные системы южных прибалтийско-финских языков (эстонского, вырусского и ливского) являются системами парадигматического акцента. Для всех этих систем значимо противопоставление двух классов акцентных парадигм (а. п.): парадигм постоянной акцентуации и парадигм переменной акцентуации.

В эстонском и выруском языках в классе парадигм переменной акцентуации противопоставлены а. п. двух базовых схем чередования стопических акцентов – «сильной» и «слабой». Различия между ними иллюстрируются следующим эстонским материалом (нумерация а. п. соответствует [Viks 1992]; два типа акцентуации обозначены индексами F и L):

(а) «сильная» схема: именные а. п. 5, 6 и 7 и глагольные а. п. 2 и 3;

(b) «слабая» схема: именные а. п. 2, 3 и 4 и глагольная а. п. 4.

	эст. (а) имя 'яблоко'		эст. (а) глагол 'мазать'		эст. (b) имя 'овца'		эст. (b) глагол 'прыгать'	
Nom.Sg	F	`õun			L	lammas		
Part.Sg	F	`õuna			L	lammas-t		
Gen.Sg	L	õuna			F	`lambda		
Nom.Pl	L	õuna-d			F	`lambda-d		
инфинитив			F	`määri-da			L	hüpa-ta
супин			F	`määri-ma			F	`hüppa-ma
основа Praes			L	määri			F	`hüppa
Praes.3.Sg			L	määri-b			F	`hüppa-b

В ливском языке (здесь и ниже – данные восточного диалекта) в классе парадигм переменной акцентуации противопоставлены четы-

ре базовых схемы чередований – «сильная», «слабая», «сверхсильная» и «сверхслабая». Для непроеизводных основ распределение этих схем по словоизменительным типам (с. т.) таково (нумерация ливских с. т. соответствует [Viitso 2008: 346–353]):

- (а) «сильная» схема: именные с. т. 40–70 и глагольные с. т. 26–39;
- (б) «слабая» схема: именные с. т. 71–80;
- (с) «сверхсильная» схема: именные с. т. 83–86;
- (d) «сверхслабая» схема: именные с. т. 13–37 и глагольные с. т.

9–25.

	лив. (а) имя 'имя' 'дуб'	лив. (а) глагол 'читать' 'плести'	лив. (б) имя 'узкий' 'зелёный'	лив. (с) имя 'ребёнок' 'женщина'	лив. (d) имя 'берег' 'время'	лив. (d) глагол 'жить' 'просить'
Nom.Sg	F ^{F1} nim ^{F2} tēm		L ^{L1} kicaz ^{L2} əl'az	F ^{F1} lepš ^{F2} naj	L ^{L1} ajga ^{L2} ajga	
Part.Sg	F ^{F1} nimə ^{F2} tāmə		L ^{L1} kicaz-t ^{L2} əl'az-t	L ^{L1} laps-ta ^{L2} najz-ta	F ^{F1} ajgə ^{F2} ajgə	
Gen.Sg	F ^{F1} nim ^{F2} tām		F ^{F1} kicə ^{F2} al'ə	F ^{F1} laps ^{F2} naiz	L ^{L1} ajga ^{L2} ajga	
Nom.Pl	L ^{L1} nimu-d ^{L2} tōmə-d		F ^{F1} kicə-d ^{F2} al'ə-d	F ^{F1} laps-t ^{F2} najz-t	L ^{L1} ajga-d ^{L2} ajga-d	
Инфинитив		F ^{F1} lugə ^{F2} pōjmə				F ^{F1} jelə ^{F2} pālə
супин		F ^{F1} lugə-m ^{F2} pōjmə-m				L ^{L1} jela-m ^{L2} pōla-m
основа Praes		F ^{F1} lug ^{F2} pōjm				L ^{L1} jela ^{L2} pōla
Praes.3.Sg		L ^{L1} lugu-b ^{L2} pōjmə-b				L ^{L1} jela-b ^{L2} pōla-b

В сфере глагола схемы (а) и (d) находятся в дополнительном распределении: схема (а) сопряжена с а-основами, схема (d) – с и- и ə-основами, причём с и-основами сопряжены только акценты F1 и L1, а с

э-основами парадигм переменной акцентуации – только акценты F2 и L2. Налицо инновационный характер акцентуации ливских глаголов.

В сфере имени между базовыми схемами переменной акцентуации в эстонском и вырусском языках с одной стороны и в ливском – с другой устанавливаются следующие соответствия (индексом 0 обозначен класс а. п. постоянной акцентуации; знаком × – запрет соответствия):

эстонский, вырусский	ливский				
	а-основы	и-основы	і-основы	э-основы	С-основы
(0) kala, sūda, nimi, `rikkus, kivi, taldrik, tuli, rehi	(d) ^{L1} kala 'рыба' (0) ^{L1} sidam 'сердце'	(a) ^{F1} nim 'имя' (0) ^{L1} rikuz 'богатство'	(a) ^{F1} kiv 'камень' (0) ^{L1} taril 'тарелка'	×	(c) ^{F1} tul' 'огонь' (0) ³ tij 'рига'
(a) `aeg, `tamm, `kaer, `laps, `säär	(d) ^{L2} ajga 'время'	×	×	(a) ^{F2} tēm 'дуб' (0) ^{F2} kagərz 'овёс'	(c) ^{F1} lepš 'ребёнок' (0) ^{L2} ser 'голень'
(b) armas, kaste, vōti, vōōras, puhas	(b) ^{L2} armaz 'любимый'	(0) ^{L1} kastug 'роса'	(b) ^{L1} vətim 'ключ (от замка)'	(0) ^{L2} vəraz 'чужой' (0) ³ pudəz 'чистый'	×

В отличие от эстонского и вырусского языков, в которых «слабый» и «сильный» акценты противопоставлены только на стопах с «тяжёлым» первым слогом (закрытым или содержащим долгий гласный), в ливском языке пять стопических акцентов («сильные» F1 и F2, «слабые» L1 и L2 и «сверхсильный» 3) противопоставлены без ограничений.

Налицо тривиальность соответствий эст. (0) ~ лив. (a) и- и і-основ (~ эст. и-, і- и е-основы) и лив. (c) консонантных основ (~ эст. «усечённые» основы Part.Sg), симметричным тривиальным соответст-

виям эст. (а) ~ лив. (а) э-основ (~ эст. u-, i- и e-основы) и лив. (с) консонантных основ (~ эст. «усечённые» основы Part.Sg). Таково же соответствие эст. (b) ~ лив. (b) а-основ; соответствие эст. (b) ~ лив. (0) u-, i- и э-основ объясняется неустойчивостью лив. (b) за пределами а-основ. Сложнее объяснить лив. схему (d), объединяющую все а-основы: эта схема не только не может быть выведена из общеприбалтийско-финской акцентной системы, но и противоречит принципу организации этой последней. (Таковым является изохрония стопы; для всех типов стоп реконструируется просодический контраст первых слогов в зависимости от «лёгкости/тяжести» вторых.)

Для объяснения генезиса лив. (d) вводится следующее правило: в праливском имела место метатония двусложных стоп с *а во втором слоге – переход «сильной» акцентуации в «слабую». Это правило не распространялось на трёхсложные стопы: в современном ливском им соответствуют двусложные стопы «сильной» акцентуации с /ə/ во втором слоге. Правило действует до сих пор: лив. /a/ второго слога даже в новейших заимствованиях не совместимо с акцентами F1, F2 и 3, а акцентное чередование $L \Rightarrow F$ во всех случаях имплицитно сегментное чередование /a/ $\Rightarrow$ /ə/.

С учётом постулированного правила ливская акцентная система без существенных затруднений выводится из общеприбалтийско-финской.

1. Viitso T.-R. Liivi keel ja läänemeresoome keelemaastikud. Tartu; Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2008. – 402 lk.
2. Viks Ü. Väike vormisõnastik. I. Sissejuhatus & grammatika. Tallinn: Keele ja Kirjanduse Instituut, 1992. – 60 lk.

Реконструкция адъективов на -и- в латинском языке

Л. Т. ЛЕУШИНА (ТОМСК)

Формирование категории прилагательных как грамматического класса слов произошло в индоевропейском языке на поздней стадии его эволюции и связано с формализацией оппозиции мужской – женский (род), с грамматическим оформлением категории женского рода. В теории рода, подтверждённой фактами хеттского языка, предполагается, что первичной была двучленная классификация имени.

Для ранней стадии индоевропейского языка характерна нерасчленённость имени, отсутствие дифференциации между существительным и прилагательным. Этот факт не вызывает сомнения, более того, можно говорить о первичности качественного значения и вторичности предметного. «Слова общего рода, от которых произошли слова мужского и женского рода, по происхождению являются прилагательными или – что с точки зрения раннего индоевропейского одно и то же – именами деятеля» [1. С. 194]. «...первобытное имя, предшествующее выделению (т.е. обособлению, раздельности) существительного и прилагательного, по способу представления в нём признака более всего подходит к причастию» [2. С. 82]. «В праиндоевропейском прилагательные как часть речи не были чётко структурированы: они слабо отличались с одной стороны от существительных, с другой – от глаголов» [3. С. 275-276]. Этимологическая реконструкция отдельных слов на эмпирическом уровне показывает, что чаще всего восстанавливается первичное обозначение какого-то качества (признака), причём зачастую в его отношении к какому-то действию или состоянию, а номинация предмета происходит на основе его качества. Об амбивалентности глагольного и именного значения на более глубоком хро-

нологическом уровне говорят древнейшие словообразовательные структуры – корневые атематические имена.

Как известно, сравнительно-историческая грамматика восстанавливает два типа индоевропейских прилагательных в трёх родовых формах [4. С. 206], например, для первого типа *newos, *newom, *newa «новый, -ое, -ая» (др.-инд. *náwas, nāwat, nāwā*; др.-гр. *νέος, νέον, νέα*; лат. *novus, novum, nova*; ст.-сл. *новъ*), где мужской и средний род связаны с основами на *-o-, а женский род с основами на *-ā-. Во втором типе адъективных основ мужской и средний род с основой на *-u- противопоставлены женскому роду, для образования которого служит суффикс *-ī-/-iā-: *swadus, *swadu, *swadv-i «сладкий, -ое, -ая» (др.-инд. *svādús, svādú, svādvī*, др.-гр. = *ἡδύς, ἡδὺ, ἡδεῖα*, в дорийском диалекте = *αἰδύς, αἰδὺ, αἰδεῖα*). Соответствующие основы представлены также в системе субстантивов индоевропейского языка.

Данное состояние, унаследованное от индоевропейского древнегреческим языком, в латинском подверглось изменению, поскольку была разрушена парадигма склонения прилагательных с основой на *-u-. В текстах встречаются лишь четыре прилагательных с основами на -ó: *longimanus* «долгорукий», *anguimanus* «змеерукий», *quadrimanus* «четверорукий», *multifructus* «многоплодный». «Древние основы прилагательных на -u- в латинском языке утрачены...латинскими прилагательными четвёртого склонения являются слова, сложные с -manus: *longi-manus, angui-manus*» [5. С. 167]. *Longimanus* «...quod alterum vi compositionis in adiectivum migravit; qui alteram manum longiorem habet» [6. С. 794]. «Cognomen fuit Artaxerxes Persarum regis. Alteram enim manum habuit huiusmodi» (Hieronym. in Chronic. Euseb. ad Olymp. LXXIX-Apud Nep. Reg. I).

Возможно, прилагательное является калькой с греческого μακρόχειρ (μακρός «длинный» и χεῖρ «рука») «долгорукий». У Плутарха оно встречается в качестве прозвища персидского царя Артаксеркса I, сына Ксеркса I. «Артаксеркс Первый, всех, кто царствовал в Персии, превосходивший милосердием и величием духа, носил прозвище Долгорукого, потому что правая рука у него длиннее левой» (Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Артаксеркс, I).

Прилагательное *anguimanus* «змеерукий» употребляется по отношению к слонам, хобот которых, называемый рукой, напоминает змею вследствие гибкости и подвижности. «...quadrupedem cum primis esse videmus in genere anguimanus (вин. падеж мн. числа) elephantos» (Lucret. 2, 536). ...boves Lucas anguimanus «быков луканских (слонов) змееногих» (Lucret. 5, 1303). В греческом языке есть словосложение подобного рода Ὀφίοπους, -подос (ὄφις «змея» и ποὺς, ποδός «нога») «змееногий».

Quadrimanus, quadumanus «четверорукий» (*quattuor* «четыре» и *manus* «рука») встречается только в поздних текстах (III – IV в. н.э.) и в качестве основ на -i- (*pueri quadrupes et quadumanes nati Jul. Obsequ. 73*) и на -ā- (*puella biceps quadripes quadrimana Jul. Obsequ. III*).

Multifructus «богатый плодами» (*multus* «многочисленный» и *fructus* «плод») по структуре и семантике спадает с греческим πολυκαρπός, в текстах имеет формы прилагательных 1-2 склонения. *Perdicca matrem Polycasten habuit, quasi Polykarpen, quod nos Latine multifructam dicimus Fulg. Myth. 3, 2*.

Приведённые прилагательные – сложные слова, образованные по древнейшей модели индоевропейского словообразования (*bahuvrīhi*): второй элемент – существительное, а слово является прилагательным, указывающим на признак предмета. Последние два сло-

ва с основой на -и-, войдя в состав композита-адъектива, заменили основу на продуктивный в системе прилагательных тип тематических основ и частично основ на -i-.

В латинском языке имеется ряд прилагательных с основой на -о-, которые являются результатом взаимодействия и- и о- основ, о чём говорят соответствия в родственных языках, в древнеиндийском и древнегреческом. К числу их относятся: *carus* «дорогой», *cassus* «ничемный», *curtus* «укороченный», *densus* «густой», *gurdus* «глупый», *mancus* «бессильный», *probus* «хороший», *ratus* «определённый», *siccus* «сухой», *varus* «выгнутый». Взаимодействие и- и о-основ наблюдается в истории греческого и других индоевропейских языков и является одной из составляющих процесса вытеснения и- основ, переставших быть грамматическим показателем определённого класса слов уже в индоевропейском языке-основе, наряду с тематизацией, которая ранее была предметом нашего рассмотрения, и иными способами. В этом контексте заслуживают внимания ещё ряд латинских слов, этимологословнообразовательный анализ которых обнаруживает древнюю и- основу: *acutus* «острый», *argutus* «выразительный», *maturus* «зрелый», *satur* «сытый» и др.

В результате предварительного обобщения лексического материала, проанализированного в диахронном аспекте с целью описания истории адъективных и-основ в классических языках, напрашивается вывод, что наиболее устойчивыми были эти основы при исходном качественном значении реконструируемого индоевропейского корня.

Литература

1. Барроу Т. Санскрит. М.: Изд-во «Прогресс», 1976.
2. Красухин К.Г. Аспекты индоевропейской реконструкции: Акцентология. Морфология. Синтаксис. М.: Языки славянской культуры, 2004.
3. Потебня А.А. Из записок по русской грамматике. М., 1968. Т.3 .
4. Семереньи О. Введение в сравнительное языкознание. М., 1980.
5. Тронский И.М. Историческая грамматика латинского языка. М., 1960.
6. Forcellini Ae. Totius latinitatis lexicon. Lipsiae, 1833-1839. Vol. 1-IV.

Гомеровское прилагательное φαεινός: этимология и употребление

Н. К. МАЛИНАУСКЕНЕ (МОСКВА)

Прилагательное φαεινός *светлый* образовано от существительного φῶς *свет*: φαεινός < *φαφεονός. По данным этимологических словарей (Фриск, Шантрен) греческое слово φῶς восходит к глагольному корню *bhā-: bhāu-: bhəu- *светить*, др. инд. bhā-ti *светить, являть*, ср. др. греч. φαείνω *светить* и φαίνω *являть*. Представляется существенным сопоставление этого корня с и.е. корнем *bhā- *говорить* (ср. др. греч. φημί, русск. баять), что объяснимо и семантически: *говорить* < *объяснять*, ср. лат. declaro.

Для Гомера φαεινός – только *светлый, блестящий, сверкающий*. Это слово в поэмах употреблено 82 раза. Прежде всего оно выступает как эпитет предметов и явлений, излучающих свет. Весьма часто это эпитет разного рода блестящих предметов, прежде всего вооружения. Бывает прилагательное φαεινός и определением предметов быта. Важную роль этот эпитет играет и в описании внешности людей и богов: блеска глаз, волос, что может быть основанием для его использования в качестве имени собственного.

Отметим также обилие в древнегреческом языке вообще и у Гомера в частности слов, связанных с этим световым корнем: само слово φῶς, прилагательные φαίντατος, φαέθων *яркий, блестящий, лучистый* (о солнце) и как имя собственное Φαέθων *Фаэтон*, сложные прилагательные φαίδιμος *светлейший, славный*, букв. *световидный* (и как имя собственное Φαίδιμος), производное от него φαίδιμβεις *блестящий, славный*, φαεσσιφροτος *освещающий смертных*, глаголы φαείνω *светить, блестеть* и φαίνω *являть, обнаруживать*, сложный гла-

гол с первым компонентом *пац-* из *пав-* *весь*: *παμφαῖνω* *ярко сиять, блестеть*, а также действительное причастие настоящего времени от глагола *παμφανόω* *весь блестящий, сияющий*.

Глагол *φαῖνω* многократно засвидетельствован в «Илиаде» и «Одиссее» в разных значениях: проявлять, выказывать, обнаруживать; показывать, указывать; изображать; ославить; светить, блестеть; быть видимым, обнаженным; являться, показываться, выступать, представлять.

С этим же корнем связаны и некоторые имена собственные. Очевидно, что основанием для образования имени собственного от слов данного корня может служить и их употребление в переносном значении – *славный*.

Наконец, надо отметить, что в гомеровских поэмах – обилие обозначений света, объясняемое тем, что для Гомера, как правило, не было абстрактного блеска. Это был блеск определенных предметов или явлений, связанный с их цветом и даже другими качествами (например, с движением).

Обозначения света, цвета и блеска привлекали внимание ученых с давних пор. В частности, крупнейший знаток античности А.Ф. Лосев утверждает в своей монографии о Гомере: «Гомеровский мир полон *света*, и события в нем разыгрываются большей частью при ярком солнечном освещении. Солнце и его лучи – это истинная радость для гомеровского грека». В «Истории античной эстетики» он пишет также, что «Гомер очень любит яркий свет и солнечное освещение, что свет для него является символом жизни».

После Гомера прилагательное *φαῖνός* засвидетельствовано у Пиндара и Еврипида, причем у Пиндара, кроме основного значения *светлый, сияющий, блестящий* оно встречается также еще и в двух пе-

реносных значениях: 1) *ясный, внятный, громкий* и 2) *блистательный, славный*. Хотя у Гомера таких значений для φαῖνός не засвидетельствовано, но значение *славный* характерно для родственных образований, а значение *ясный, внятный* потенциально присутствует в глагольном корне со значением *говорить, объяснять*.

Если рассматривать гомеровский язык в данном случае как синхронический срез (хотя на другом материале его, безусловно, можно представлять и диахронически), то намеченный путь развития значения прилагательного φαῖνός от индоевропейских истоков до реализации заложенных в нем потенций в языке более поздних авторов является нам взаимосвязь, взаимодействие и взаимопроникновение смыслов в этом прилагательном. Слова А.Ф. Лосева в отношении стиля переходной эпохи, в котором «обязательно должны чувствоваться rudiments старого, но в то же время и зародыши будущего», действительны и в данном конкретном случае.

Синхронное взаимодействие языков и культур в переводе

Ю.Н. МАРЧУК (МОСКВА)

Перевод в современном мире является одним из самых распространенных видов языковой деятельности, поскольку увеличивается число естественных языков, вступающих в коммуникацию, и проблема синхронного сопоставления языков и культур имеет большое значение для качественного перевода. Термин «синхронное» в данном рассмотрении означает влияние современного состояния вступающих в контакт языков на языковые проблемы перевода. Культура и взаимодействие языковых картин мира языков перевода также имеют большое значение в языковой практике, и не только для перевода, но и для развития культур народов, политических отношений, научно-технического прогресса. Пример: использование политическими деятелями сленга в политических дискуссиях может повлечь нарушение стабильности в отношениях. Новые значения общеупотребительных слов в научно-технических текстах могут затруднить понимание содержания научной статьи или патента. Современные информационные технологии, такие как автоматический анализ и синтез текста, машинный перевод, информационный поиск и пр. предъявляют новые, повышенные требования к точной типологии текстов. Все проблемы такого рода требуют теоретического осмысления и практических мер по повышению качества перевода в рамках конкретных языковых пар. При этом большое значение имеет типологическая близость языков, сходство или различие в языковых картинах мира, опыт и практика перевода в данном конкретном направлении.

Winter's law and the loss of stops before obstruents in Proto-Slavic

RANKO MATASOVIĆ (ZAGREB)

Introduction

Fifteen years ago (Matasović 1995) I proposed a re-formulation of Winter's law, the rule according to which Balto-Slavic vowels were lengthened before PIE voiced stops in closed syllables, but not in open syllables. In the meanwhile, my formulation of the law was accepted by a number of scholars (e.g. by LIV), but others remain faithful to the original, more general formulation (the lengthening of vowels before voiced stops in both closed and open syllables, e.g. Dybo 2002, Derksen 2007, Kortlandt 2009: 73-76). On the whole, the matter remains controversial, and I will not attempt to add further arguments to this complex issue, besides pointing out that the number of cases where short vowels are found before voiced stops in open syllables is considerable,¹ which is why I stick to my proposal from 1995. In this paper, I will simply show how my formulation of the law helps us clarify a number of Slavic etymons which have not been adequately treated in etymological dictionaries so far. In all of the cases discussed below we shall assume that a voiced stop, responsible for Winter's lengthening, was lost before another obstruent in the closed syllable.

¹ To mention just a few counter-examples to Winter's formulation: OCS *voda* 'water' < *wodr- (Gr. *hýdōr*), Croat. *kobъ* 'destiny, fate' < *kobi- (Oic. *happ* 'luck'), OCS *bogъ* 'god' < *b^hogo- (Skr. *bhāga*-), Croat. *debelъ* 'fat' < *d^hebe- (OHG *tapfar* 'firm, heavy'), Lith. *mudrūs* 'joyful' < *mudru- (Skr. *módate* 'rejoices'), Lith. *mazgóti* 'wash' < *mezgeh₂- (Skr. *májjati* 'sinks'), OCS *sedъlo* 'saddle' < *sedilo- (Gr. *hédos* 'seat'), Lith. *segù* < *sego- (Skr. *sájati* 'attaches'), etc. I remain unpersuaded by Kortlandt's (2009), Derksen's (2007), and Dybo's (2002) discussion of these exceptions.

Proto-Slavic *město*

Reflexes of Proto-Slavic **město* are attested in all branches of Slavic, cf. Ru. *město* 'place', Ukr. *místo* 'town', Cz. *místo* 'place, space', *město* 'town', Slk. *miesto* 'place, town', Pl. *miasto* 'town, city', USrb. *město* 'city, place', OCS *město* 'place', Croat. *mjěsto* 'place', Slov. *město* 'town', Bulg. *mjásto* 'place'. All the reflexes point to the accentual paradigm a, i.e. to the acute on the first syllable of this noun throughout the paradigm. The meanings of the attested forms agree to a large extent, but it is unclear whether the original meaning was 'place' or 'inhabited place, village' (since there were hardly any towns in the Proto-Slavic period, the meaning 'town' would have developed from 'inhabited place', or, more abstractly, 'place, area'). Czech, which has both meanings, distinguishes them with two different reflexes of the same Proto-Slavic word. The form of *místo* 'place' seems to be regular with its long reflex of *ě, while *město* 'town', with the short reflex, is innovative. Moreover, the meaning 'town' is restricted to a limited and geographically continuous area comprising most of West Slavic, Slovene, and Ukrainian (where this meaning could have developed under the influence of Polish). Machek (365) believes the original meaning was more generally 'space', which developed into 'town' from the collocations such as 'market-place'. He compares the similar development in German *Stadt* 'town, city' from OHG *stat* 'place'. In the West Slavic area the meaning 'town' may have been simply calqued on the meaning of the German word for 'town' and 'place' (MHG *stat* has both meanings). In Russian, the meaning 'town' is also attested, and although Vasmer (124) states that it is late¹, according to SSSPI

¹ He claims that the earliest examples of *mesto* in this meaning are from the 18th century, when the influence of Polish cannot be excluded.

(*s. v. mĕsto*), we actually find it in the Old Russian texts, as in the following sentences:

И нѣсть мѣс т а , ни вси, ни сѣль таѣх рѣдко, идеже не воева-
ша на Суждальской земли. *Лавр. лет., 464 (1377 г.).* А наиду собѣ Му-
ромъ или Торусу или иная мѣс т а , тотъ ти проторъ не надобѣ. *Грам.*
1390 г. ДДГ, № 13.

It is possible that *mjasto* in the examples above should not be interpreted directly as 'town', but as 'town and the area belonging to it, inhabited area'. In Old Russian, *mjasto* usually means 'place, location' but, significantly, it also means 'field, a plot of land', as in the following passages:

А что на Рязанской сторонѣ за Окою, что доселе потягло къ
Москвѣ, почень Лопастна, уѣздъ Мьстиславль, Жадѣне городише, Жа-
домль, Дубокъ, Бродничъ с мѣ с т ы , как ся отступили князи торуские
Федору Святославичю та мѣста к Рязани. *Грам. 1382 г. ДДГ, № 10.* Тол-
ко князю Скирикгаилу володѣти городомъ Полоцкомъ и усеми тыми м
е с т ы и города и волости и людьми, усею тою землею, што коли тягло
и тянеть к городу Полоцку. *Грам. кор. Владисл. 1387 г. Сахаров, № 15.*

The earliest meaning attested in Slavic agrees well with the ORuss. meanings, since OCS *mĕsto* translates not only Gr. *tópos*, but also *khōrion*, which means 'a fortified post, a detached fort, landed property, estate, country', i.e. a limited, often encircled, area of land. A common syntagm is

pusto(e) město, which denotes a desert, i.e. a barren and deserted area.¹ Words derived from the same root, such as Russ. *mestít'sja* 'take up space', or Croat. *smjěstiti* 'put in a place' are consistent with the hypothesis that *město originally denoted an area, or a limited amount of space.

All of this lead us to conclude that *město was originally not a place as a point in space, but rather a place as a limited area, perhaps inhabited area.

The etymologies of *město proposed so far are quite unsatisfactory. As Derksen (313) clearly sees, PSŁ. *město cannot be related to Lith. *mìsti* 'feed, live, stay', *maĩstas* 'food' (ESSJa XVIII: 203ff., Snoj 395, SP II: 39), because the acute intonation of the root in *město remains unexplained if we posit BSL. *maysta- < PIE *moyth₂-to- (cf. Av. *miθnaiti* 'dwells, lives in'). Smoczyński (409) does not even mention this etymology in his discussion of Lith. *mìsti* and the related forms. A similar objection can be raised if one compares Skr. *may-* 'fix, build', Lat. *moenia* 'walls', *mūrus* 'wall', which are from PIE *mey- 'build' (LIV 382). Positing a lengthened grade and a sigmatic suffix (? *mōy-s-to-) just to account for *město would clearly be *ad hoc*. Likewise, a connection with Lith. *miėtas* 'post, stick', Latv. *miets* 'id.' is ruled out primarily because the accents do not match (the Baltic forms uniformly have the circumflex, and the comparison with Skr. *methí-* 'stick, post', Arm. *moyt'* 'pillar' shows that the PIE root was *meyt-, or *meyth-, IEW 709). Also, the evolution of meaning that would need to be posited is quite complex: a PIE vrddhi *mōyt(H)-to- 'belonging to an area delimited by posts'

¹ Cf., e.g., Mark 1.35: i ide vъ pusto město, Gr. καὶ ἀπέλθεν εἰς ἐρήμον τόπον, Lat. abiit in desertum locum.

would have developed into PSl. *město 'area' > 'place'. A simpler solution would clearly be preferable.

One important point about the form of *město has not been noted in the etymological literature. The preservation of the neuter gender in PSl. *město points to a Balto-Slavic oxytone, because only originally end-stressed neuters remain neuters in Slavic (e.g. PIE *(H)yugóm > OCS *igo*, cf. Gr. *zygón*, Skr. *yugám*), while barytone neuters became masculines by Illič-Svityč's rule (e.g. PIE *d^hwórom > OCS *dvorъ*, cf. Skr. *dváram*). An oxytone PIE form in *-tó- was most likely a past participle. The question is only – of which verb?

I claim that Proto-Slavic *město can be regularly derived from a neuter form of the past participle of the PIE verb *med- 'to measure' (Lat. *medeor* 'heal', *modus* 'size, measured amount', Umbr. *meřs* 'law', OIr. *mid-ithir* 'judges, measures', MW *medu* 'to think, distribute', Gr. *médō* 'rule', *médomai* 'care for, think of',¹ Go. *mitan* 'to measure', Av. *vī-mad-* 'healer, physician', LIV 380). PIE *med-tóm yielded BSl. *města-*, with the lengthening of the first closed syllable by Winter's law (Matasović 1995). Originally, *město is 'that which is measured, a measured area', hence 'encircled area, village'. Measuring the area is the first step in establishing a settlement, hence the semantic connection. The root *med- is otherwise unattested in Balto-Slavic, so *město must be a lexical archaism.

¹ The nearly synonymous verb *médomai* has long *ē* presumably under the influence of the root *meh₁- 'to measure' (OCS *měra* 'measure', Ved. *māti* 'measures', etc.).

If the etymology proposed here is accepted, it shows that Illič-Svtyč's rule mentioned above operated before Winter's law. Had it been otherwise, early BSL. *med-tam would have developed to **méđ-ta- > **méstas > PSl. **městъ, rather than *město. Unlike the alternative etymologies, this one has the merit of precisely explaining word-formation of *město from the PIE perspective, and it also derives the attested forms, including their accentuation, regularly from the posited PIE source.

Proto-Slavic *áma, *jáma

Proto-Slavic *áma, *jáma 'pit, hole' (OCS *jama*, Russ. *jáma*, Ukr. *jáma*, Cz. *jáma*, Slk. *jama*, Pol. *jama*, Croat. *jăma*, Slov. *jáma*, Bulg. *jáma*) has no etymology, as acknowledged by Derksen (28). The connection with Gr. *ámē* 'shovel' (IEW 502, ESSJa I: 70-71, Snoj 234) is impossible both formally (Slav. *a* cannot correspond to Gr. short *a*) and semantically. The meaning of the Slavic etymon is 'pit, hole' in all of its reflexes (in some languages, e.g. in Ukr. and Pol. there is the additional meaning 'grave', which is secondary). The development from 'shovel' to 'hole, pit' is quite improbable, and one must note that the meaning of Gr. *ámē* is not altogether ascertained, especially in the early documents (DELG 72). It is certainly an instrument for collecting or gathering, and in later Greek it means 'bucket'. Formally, it is derived from *amáō* 'to reap, mow, collect, gather', and the etymology of this verb is quite unclear: it has been both derived from *sem- (Lith. *semiù* 'gather, collect (water)') and related to Skr. *ámatra* 'vase', neither of which is completely satisfactory.¹

¹ The current *communis opinio* seems to be that the etymology of *amáō*, as well as of *ámē*, are unknown, especially since the meaning of the latter word is not quite certainly established (Beekes 82).

Even less convincing is the connection of PSl. *áma, *jáma and OIr. *úaim*, *úam* 'cave, den, boar's lair' suggested by LEIA U-7; as argued in Matasović 2009: 302, PIE *(y)eh₂m- would give OIr. **ám rather than *úam*, and there is a better etymology deriving this OIr. word from PIE *h₁ew-n- (Gr. *eûnís* 'deprived', Arm. *unayn*).

I would like to propose a new etymology for this difficult word. It is possible to derive it from PIE *h₁og-meh₂, where the root is PIE *h₁eg- 'to lack' (IEW 290), cf. Lat. *egēo* 'to need, be needy', *egestas* 'indigence, necessity, want', OIc. *ekla* 'lack', OHG *eko-rōdo* 'only', ToAB *yāk-* 'to neglect'. The initial *j-* in Slavic is, of course, prothetic, as in Croat. *jānje* 'lamb' < *agne, cf. Lat. *agnus*). It is also conceivable that we are dealing with an old middle participle (*h₁og-mh₁n-eh₂) from the same root, with the assimilation of *mn > *mm > *m after the loss of the inter-consonantal laryngeal (Matasović 2008: 295-396). The same development is seen, e.g., in PSl. *pismo 'letter' (Russ. *pis'mó*, Croat. *pismo*, etc.) < *pik'-mh₁no-, cf. OCS *pъsati* 'write', Lith. *piešti* 'draw', Gr. *poikílos* 'spotted' (Tijmen Pronk, p.c.).

The only problem with this etymology is the semantic development, but this is not insurmountable; the meanings 'hole' and 'lack' are often connected metaphorically, cf. Croat. *rupa u proračunu* 'hole in the budget' = 'lack (of money) in the budget'. The development in Slavic could have been from 'lack' to 'emptiness' and then to 'hole, pit', which is what we find in the reflexes of this etymon. The first step of this development can be observed in Latin, where we find (post-classical) *egestio*, *-ōnis* (f.) 'a carrying out or off, emptying, voiding'.

Proto-Slavic *těmę

Proto-Slavic *těmę 'sinciput, top of the head' (Russ. *témja*, *témeni*, Cz. *témě*, *temeno*, Slk. *temä*, Pol. *ciemie*, Croat. *tjěme*, *tjme* (Vrgada), Slov. *téme*, Bulg. *téme*) does not have a persuasive etymology. The connection with the verbal root found in Proto-Slavic *tęti 'chop, cut', (Snoj 757, Skok, s.v., Derksen 492, IEW 1062, cf. Russ. *tjat'* 'beat', Cz. *títi* 'cut', Pol. *ciąć*, Lith. *tinti* 'whet', Gr. *témnō* 'cut') is improbable both semantically and formally. The Slavic acute in the first syllable might be regular, since the root ended in a laryngeal, but the lengthened grade (implied by *ě) is completely unexpected (we would expect *tęmę rather than *těmę). On the semantic side, I find the development from 'a cut' to 'a line on the top of the head' to 'sinciput' quite improbable.

A far better etymology is at hand if we derive PSll. *těmę from PIE *teg-men- 'a covering', from the root *(s)teg- 'cover' (IEW 1013, cf. Gr. *tégos* 'roof, house', Lat. *tego* 'cover', *tegulum* 'roof', OIr. *tech* 'house', W *to* 'roof', OHG *decchen* 'cover', *dah* 'roof'). The vowel was regularly lengthened before *g by Winter's law, and the acute on the first syllable is expected. After Winter's law, *g was lost before the nasal, so we have the following development: *teg-men > *tégmēn > *témen > *těmę. The Slavic form has a partial correspondence in Lat. *tegmen*, *tegimen* 'cover'. Of course, this etymology implies that *g (< PIE *g^w, *g, perhaps also *g^{wh}, *g^h) was lost before *m at some point in the prehistory of Slavic, while it was preserved before *n (cf. OCS *ognь* 'fire' < *ngni-, cf. Lat. *ignis*, Skr. *agní-*), but this is not a problem, since there are no counter-examples.¹ If our etymology of *jáma, presented above, is accepted, the two examples actually support each other and show that *gm > PSll. *m. From the semantic point of view, I believe the

¹ Cf. Meillet 1934 : 141: „Il n'a pas d'exemples valables du traitement de *k, g*, devant *mf*”.

believe the development was from 'a covering' to 'roof' (cf. the similar semantic evolution in Gr. *tégos* 'roof', OHG *dah* 'id.' and W *to* 'id.') and then to 'ceiling, top' and 'sinciput, top of the head'.

Conclusion

The three etymologies presented here have one thing in common:¹ they all show the operation of Winter's law, the lengthening of vowels before PIE voiced stops in closed syllables. If these etymologies are accepted, we can further conclude that Winter's law operated before *g (from PIE *g^w and *g) was lost before *m (*tegmen > *tēme, *h₁ogmeh₂ > *áma, *jáma), as well as before the development of *dt > *st (*med-to- > *město*).

REFERENCES

1. Beekes = R. S. P. Beekes, *Etymological Dictionary of Greek*, Brill, Leiden 2010.

¹ Another etymology, rather less persuasive than the others, deserves to be mentioned in this context: PSl. *lyďka and *lystъ, *lysto, *lysta 'shin, calf' (OCS *lysto*, Cz. *listo*, Pol. (arch.) *lyst*, *lysta*, Croat. *list*, Mac. *list*, ORuss. *lytka*, Cz. *lytko*, Slk. dial. *lido*) do not have a persuasive etymology (ESSJa XIII 23, 43-44, 55-57, Derksen 294, 296). It would be possible to derive these forms from PIE *lud-to- (> *lystъ), *lud-o- (> *lydo, *lyďka, with analogical lengthening of *u under the influence of *lud-to-) under the assumption that they are derived from the root *lewd- 'to lower oneself, bow (one's knees)' (IEW 684, LIV 372), cf. OIc. *laut* 'bend, fall', Lith. *liūdėti* 'be sad', perhaps also OHG *luzil* 'small', OE *lyt* 'id.' Interestingly, the Balto-Slavic words for 'hip' can be derived from the semantically opposite root, PIE *kelH- 'to raise (one-self)' (Lit. *kėlti*, Lat. *excello*, LIV 312), cf. PSl. *kьlka, *kьlkъ (Croat. *kŭk*, Cz. *kelka* 'stump of an arm or leg', Lith. *kulkšnis* 'ankle-bone', *kùlšė* 'hip' (Derksen 260, ESSJa XIII 188, Smoczyński 322). Of course, both of these proposals are rather speculative.

2. DELG = P. Chantraine, Dictionnaire étymologique de la langue grecque, Klincksieck, Paris 1968.
3. Derksen = R. Derksen, Etymological Dictionary of the Slavic Inherited Lexicon, Brill, Leiden 2008.
4. Derksen 2007 = R. Derksen, „Balto-Slavic etymological studies and Winter's law: A concise review of Dybo 2002“ in: Tones and Theories: Proceedings of the international workshop on Balto-Slavic accentology, ed. by M. Kapović & R. Matasović, IHJJ, Zagreb 2007: 39-46.
5. De Vaan = M. de Vaan, Etymological Dictionary of Latin and the other Italic Languages, Brill, Leiden 2008.
6. Dybo 2002 = V. A. Dybo, „Balto-Slavic accentology and Winter's law“, Studia Linguarum 3/2 2002: 295-515.
7. ESSJa = V. N. Trubačev, Etimologičeskij slovar' slavjanskix jazykov, Moscow.
8. IEW = Pokorny, Indogermanisches etymologisches Wörterbuch, Bern 1959.
9. Kortlandt 2009 = F. Kortlandt, „Winter's law again“, in: F. Kortlandt, Baltica & Balto-Slavica, Rodopi, Amsterdam 2009: 73-77.
10. LEIA = J. Vendryès, Lexique étymologique de l'irlandais ancien, Paris 1959-.
11. LIV = H. Rix et alii Lexikon der indogermanischen Verben, Reichert, Wiesbaden 2002.
12. Machek = V. Machek, Etymologický slovník jazyka českého, Praha²1968.
13. Matasović 1995 = R. Matasović, „A re-examination of Winter's law in Baltic and Slavic“, Lingua Posnaniensis 37: 57-70.
14. Matasović 2008 = R. Matasović, Poredbenopovijesna gramatika hrvatskoga jezika, Matica hrvatska, Zagreb 2008.

15. Matasović 2009 = R. Matasović, *Etymological Dictionary of Proto-Celtic*, Brill, Leiden 2009.
16. Meillet 1934 = A. Meillet, *Le slave commun*, Champion, Paris 1934.
17. Smoczyński = W. Smoczyński, *Słownik etymologiczny języka litewskiego*, Vilniaus universitetas, Vilnius 2007.
18. Snoj = M. Snoj, *Slovenski etimološki slovari*, Mladinska knjiga, Ljubljana ²2002.
19. SP = F. Sławski (ur.), *Słownik prasłowiański*, Polska Akademia Nauk, Warszawa 1974-
20. SSSPI = *Slovar'-Spravočnik 'Slova o polku Igoreve'*, Nauka, Leningrad 1965-1984.
21. Vasmer = M. Vasmer, *Russisches etymologisches Wörterbuch*, Heidelberg 1953-58.

Др.-ирл. *céile* в контексте диахронических семантических сдвигов

Т.А.МИХАЙЛОВА (МОСКВА)

0. Древнеирландская лексема *céile*, фиксируемая в самых ранних памятниках эпиграфики гойдельского периода, принадлежит к архаическому пласту обще-кельтской «социальной» лексики. В то же время, в разные периоды истории языка ее семантика значительно варьировала, что привело к появлению на современном этапе развития языка двух, фиксируемых в качестве словарных, значений этой лексемы:

céile-1 – «товарищ; супруг, свойственник» и *céile-2* – «другой, один из двух» (см. [Ó Dónaill 1977: 216]).

Значительная часть более ранней, собственно – социальной семантики лексемы в настоящее время является утраченной, но зато расширился пласт ее фразеологических употреблений (см. ниже).

1. Первые фиксации лексемы *céile* принадлежат к так называемым «огамическим надписям» (IV-VI вв.), предположительно – мемориальным надписям, выполненным на камне особым, огамическим письмом (сочетание черт и зарубок, нанесенных поперек вертикальной оси, см. [Королев 1984; McManus 1991]). Надписи представляют собой генитивы имен собственных и содержат ограниченное число аппеллативов (около 20), в основном – уточняющих идентификацию собственно именования, например: *X сына Y-ка* или *X племянник Y-ка*, или *X сына из рода Y-ов*. Аппеллатив CELE (CELI) встречается в пяти надписях, организованных по модели X CELI Y, либо усложненных – X сына Y-ка CELI Z-а (см. надписи №№ 109, 128, 142, 215, 275 по каталогу Р.Макалистера [Macalister 1945]).

Семантика лексемы в огамических эпитафиях реконструируется условно, поскольку, как пишет А.А.Королев, «в древнеирландском слово имело широкий круг значений: ‘слуга, вассал, подданный; товарищ, спутник, коллега’. Вполне возможно, что в огамический период это слово имело значение ‘спутник вождя’, ср. описания у древнегреческого географа Посейдония общества галлов, где у каждого вождя было несколько “сотоварищей”, “параситов” или нахлебников» [Королев 1984: 111]. Сопоставление с галльским социальным устройством кажется нам здесь не совсем правомерным, но несомненно, что в составе NP в эпитафии CELE безусловно имеет характер терминологический, то есть – детерминирует социальную принадлежность и статус умершего. Видимо, семантика «спутник вождя» или «дружинник» предстает как наиболее перспективная.

В *Ульстерских анналах* элемент *Céle* четыре раза встречается в составе NP (см. [O’Brien 1973: 230]), что говорит о его частичной десемантизации в др.ирл. период. Позднее этот элемент не входит в состав композитов собственных имен.

2. Исходное значение лексемы на прото-кельтском уровне и ее этимология составляют давнюю проблему. Сопоставление с бриттскими данными (валл. *cilydd* ‘друг, товарищ’, брет. *e-gile* ‘другой, второй из двух’) позволяет реконструировать прото-кельтскую лексему с (предположительно) аблаутным чередованием, **kēlyo-/ *kilyo-*, которая, по мнению Р.Матасовича, «с затруднением может быть ассоциирована с каким бы то ни было и.-е. корнем» [Matasović 2009: 200]. В то же время, Ж.Вандриес, отмечая несогласованность гойдельского и бриттского вокализма (а также предполагая не совсем верно наличие в др.ирл. форме *céile* дифтонга) все же был склонен возводит лексему к и.-е. **kʰei-* [IEW 540], давшую продолжение в лат. *cūiis* ‘согражданин’,

готск. *heiwa-frauja* ‘хозяин дома’ (калька с греч. *oiko-despótēs*), др.в.н. *hīwa* ‘супруга’, др.исл. *hy-ske* ‘семья’, лит. *seiwa* ‘то же’ и др. ([Orel 2003: 173; LEIA-C: 52]; см. также [Delamarre 2003: 112], семантику и.-е. концепта «семья, брак, дружба, супружество» в [Бенвенист 1995: 221]). В настоящее время мы склонны придерживаться традиционной этимологии кельтской лексемы, и предложенные нами же в [Mikhailova 2007: 18-19] сопоставления с алтайскими (тунг. **kēlu-me* ‘свояк, шурин; слуга’, эвенк. *kēlūme* ‘свояк’ и др.) и уральскими (финнск. *kylä* ‘семья, дом’) в кажутся нам сейчас отчасти надуманными, хотя и не лишены интереса. Вокализм в данном случае реконструируется крайне ненадежно, но семантические деривации, как кажется, соответствуют индоевропейским. А именно семантические переходы в настоящее время находятся в центре нашего внимания.

3. В древнеирл. период (т.е. примерно до начала X в.) лексема *céile* отчасти сохраняет значение, реконструируемое для языка огамических надписей – «воин-дружинник, клиент», однако говорить здесь о тождественности мы не имеем права принципиально. За пять веков (со времени ее первых фиксаций) ирландское общество претерпело значительные социальные изменения и поэтому план содержания *céile* неизбежно должен был измениться. Собственно историческая его составляющая находится сейчас вне нашей компетенции, однако отметим, что слова Д.Бинчи о том, что «*céile* в языке Законов сохраняет свое исходное значение в сочетании *sóer-chéle*» [Binchy 1941: 80], предстают отчасти сомнительными: мы не можем знать, какое значение было исходным. Представляется возможным лишь говорить о социально-терминологическом употреблении лексемы в рамках юридической терминологии, лишь отчасти соотносимым с огамическим. Действительно, в языке законов *sóer-chéle* «свободный дружинник», обозначает

свободного члена общества, который при этом находился в зависимости от правителя (одна из форм вассалитета, полностью в Ирландии так и не развившегося). Этому термину был противопоставлен – *céle gíallnai* ‘дружинник службы’, которое позднее была заменено на *doerchéle* ‘зависимый дружинник’. Наш перевод («дружинник») в достаточной степени условен, поскольку ирландский термин включал в себя не только воинскую обязанность, но и разного рода установленные выплаты дани. Таким образом, др.ирл. *chéle* в узком юридическом смысле не имеет эквивалента, поскольку является специфическим правовым термином, отражающим отношения вассальной зависимости в период от VII до X вв. Д.Бинчи предлагает пользоваться термином *клиент*.

Начиная с VIII в. в Ирландии возникает отшельническое движение, кодируемое новым употреблением лексемы в сочетании *céle Dé*, являющимся калькой латинского *servus Dei*. Значение в данном случае соотносимо с юридическим.

Параллельно возникает другое традиционное употребление *céile* со значением «партнер по браку, муж». Ср. ср.ирл.: *Timarnad duit íarom óm chéiliú* [Dillon 1953: 5, 134] – *Послано тебе тогда от моего мужа*. Данное употребление, отметим, находится вне развитой и сложной др.ирл. брачной терминологии. Однако со временем именно оно, видимо, ввиду изменений внутри самого института брака, закрепляется как базовое. Так, в тексте, датированном XI в. мы встречаем употребление сочетания *banchéle* в значении «жена» (см. [Van Hamel 1941: 96, 13]). В др.-ирл. префикс *ban-* (gen.pl. *ben* ‘жена, женщина’) имел словообразовательный характер, с его помощью образовывался женский эквивалент обозначения мужчины (*cáinte* ‘заклинатель’, *bancháinte* ‘заклинательница’). Таким образом, *banchéle* означает усл. «подруга».

В ново-ирл. период оно трансформировалось в *bean chéile*, и сам элемент *-chéile* трансформировался в термино-образующий элемент родства по браку. Ср. совр.ирл. *máthair chéile* ‘теща, свекровь’ (*mother-in-law*).

Также параллельно, в языке развивается фразеологическое употребление *céile* со значением (усл.) «другой, один из двух», датировать появление которого достаточно сложно. В текстах IX в. такое употребление уже встречается, например: ... ní dergní nechtar de olc fria chéile [TBF: 15, 376] – *не сделали они зла друг другу* (букв. «против другого»). В более поздний период аналогичных предложных устойчивых употреблений встречается очень много. Ср., например – *ón chluais go chéile* ‘из одного уха в другое’, *le chéile* ‘вместе’ и проч.

Аналогичные употребления широко представлены в бриттских языках. Ср. валл. *or mor bwy gilydd* ‘от моря до другого’, *map eguile* ‘бастард, букв. сын другого’, брет. *e-gile* ‘другой, второй’, корн. *y-gyla* ‘то же’. В данном случае представляется логичным реконструировать данное значение уже на прото-кельтском уровне, однако мы в этом не уверены. С нашей точки зрения, в данном случае мы имеем дело с одним из универсальных (точнее – фреквентальных) семантических переходов. Ср. русск. *друг* → *другой*, *друг* → *дружинник*, а также *frend* → ‘сексуальный партнер’ (в настоящее время фиксируется и в русском языке как в виде словоупотребления *друг*, так и в форме заимствования – *бой-френд*). Привлечение данных других языков в данном случае представляется перспективным.

Литература

1. Бенвенист Э. Словарь индоевропейских социальных терминов. Пер. с франц. М., 1995.
2. Королев А.А. Древнейшие памятники ирландского языка. М., 1984.
3. Binchy D. (ed.) Críth Gablach. Dublin, 1941.
4. Delamarre X. Dictionnaire de la langue gauloise. Paris, 2003.
5. Dillon M. (ed.) Serglige Con Culainn. Dublin, 1953.
6. LEIA – Lexique étymologique de l'irlandais ancien de J. Vendryes, C – Paris, 1987.
7. Macaliste R.A.S. Corpus inscriptionum insularum celticarum. Dublin, 1945.
8. Matasović R. Etymological Dictionary of Proto-Celtic. Leiden, 2009
9. McManus D. A Guide to Ogam. Maynooth, 1991.
10. Mikhailova T. Масс, Cailín and Céile – an Altaic Element in Celtic? // The Celtic Languages in Contact. Papers of the XIII International Congress of Celtic Studies. Ed. H.Tristram. Potsdam, 2007.
11. O'Brien M. Old Irish Personal Names // Celtics X, 1973.
12. Ó Dónaill N. Foclóir Gaeilge-Béarla. Baile Átha Cliath, 1977
13. Orel V. A Handbook of Germanic Etymology. Leiden, 2003.
14. NBF – Táin Bó Fraích. Ed. W.Meid. Dublin, 1967.
15. Van Hamel A.G. (ed.) Innrama. Dublin, 1941.

Депиктивные второстепенные предикаты в тюркских языках

И. А. НЕВСКАЯ (ФРАНКФУРТ)

Сложные сказуемые, которые соотносят с субъектом более чем один предикативный признак, известны и в русском и в тюркских языках. Примерами таких сказуемых являются следующие структуры: *пришел усталым, живет бобылем, рос сорванцом*. В их составе имеются два предиката – глагольный, выраженный глаголом в финитной форме, и именной, выраженный именем или именной формой глагола. Глагольный компонент синтаксически независим, именной же компонент, с одной стороны, синтаксически зависим от финитного и часто может рассматриваться как обстоятельство образа его действия, а с другой стороны, этот компонент семантически (а иногда и формально, сравните: *пришла усталая*) соотносится с субъектом глагольного действия, выступая в качестве его второстепенного предикативного признака.

Именной компонент в составе таких образований получил в лингвистике различные терминологические обозначения: *predicativum* в латинском языкознании (например: Pinkster 1988), *predicative attribute* (Paul 1919; Halliday 1967), *copredicate* (Nichols 1978, Plank 1985), *depictive secondary predicate* или просто *depictive* (Schultze-Berndt & Himmelmann 2004).

Такие предикаты могут быть соотнесены не только с субъектом, но и с другими именными компонентами предложения, чаще всего с объектом: *Он выпил чай холодным*. Именной компонент, который выступает в качестве носителя предикативного признака, выраженного депиктивным предикатом, называют его контроллером (Schultze-Berndt & Himmelmann 2004).

Основной глагольный предикат, при котором возможно появление депиктивного предиката, обычно образуется глаголами определенных семантических групп: движения, состояния, изменения состояния, и т. п. Сам депиктивный предикат передает чаще всего физическое или психологическое состояние своего контроллера (живой/мертвый, старый/молодой, голодный, пьяный/трезвый, сырой/вареный и т.д.).

Депиктивные предикаты обычно входят интонационно в группу главного глагола, они делят с ним и ряд модальных характеристик, например, сферу действия (scope) отрицания. Кроме того, выраженный ими предикативный признак вписывается во временную рамку действия, выраженного главным предикатом. Эти признаки помогают отличать депиктивные второстепенные предикаты от целого ряда сходных явлений:

от обстоятельства образа действия, сравните: *Он ушел с вечеринки сердито/сердитый* – в первом случае речь идет о том, КАК он покинул вечеринку, во втором о том, в КАКОМ СОСТОЯНИИ он ее покинул;

от результатов: *напился пьяным*;

от комплементов главного предиката: *казался расстроенным*;

от предикатов зависимых частей предложения и от оппозиций: сравните: Он был расстроен, когда он ушел; Расстроенный, он ушел; Как учитель, я не могу себе этого позволить.

В последнее время подобные сказуемые стали объектом пристального внимания типологов. Теоретическое обоснование и наиболее разработанная концепция таких предикатов были предложены в Schultze-Berndt & Himmelmann 2004. Депиктивы в языках разных систем были темой симпозиума, прошедшего в декабре 2005 года в г. Ол-

денбурге. Симпозиум был организован Институтом славистики Олденбургского университета. Депиктивы в тюркских языках в целом изучены пока недостаточно, хотя их отдельные типы описывались для алтайского (Тыбыкова 1988: 52-67) и шорского (Невская 1998: 64-71) языков еще в конце прошлого столетия. Депиктивы в их противопоставлении обстоятельствам образа действия в турецком языке были темой отдельного диссертационного исследования (Schroeder 2004). Кроме того, автором было проведено исследование депиктивов в тюркских языках Южной Сибири (Nevskaya 2008), в котором были выделены их основные семантические и структурные типы на основании подготовленной анкеты с типичными для депиктивных предикатов контекстами. Эта анкета была также предложена носителям северо-западных тюркских языков (в частности, казахского, киргизского и ногойского), результаты которой были представлены в соавторстве с С.Д. Тажибаевой на Международной конференции по турецкой лингвистике в Сегеде (Венгрия) в 2010 году (Nevskaya & Tazhybaeva 2010). В настоящее время идет работа по описанию депиктивов в юго-восточных тюркских языках (уйгурском и узбекском), есть первые результаты, которые мы применили для нашего сравнительно-сопоставительного исследования структурно-семантических типов тюркских депиктивов, а также ареалов их распространения.

Мы подробно описываем наши результаты в предлагаемом на конференцию докладе. Представим тезисно только отдельные из наших выводов.

Наше исследование показало, что семантические типы депиктивных предикатов являются общими для всех тюркских языков, а вот способы их выражения сильно варьируются в зависимости от ареала.

Кроме того, значительные различия наблюдаются в выражении одной и той же семантики с разными контроллерами.

Общими для всех тюркских языков являются депиктивы, выраженные наречиями, собирательными и разделительными числительными, именами в инструментальном падеже, прилагательными обладания/не обладания предметом, отдельными деепричастиями и причастиями, именами с послелогоми типа *БОЛЫП* (от глагола *бол* ‘быть’ в форме деепричастия на *–(Ы)п*) и т.д..

Тюркские языки мусульманских народов обладают значительным арсеналом абстрактных существительных со значением ‘состояние, форма’, заимствованных их арабского или персидского языков. Их падежная форма локатива в сочетании с прилагательным образует наиболее многочисленную группу депиктивов.

В большинстве тюркских языков *БОЛЫП* противопоставлен *КЫЛЫП* (от глагола *кыл* ‘делать’ в форме деепричастия на *–(Ы)п*) в том, что *БОЛЫП* употребляется при субъектном контроллере, а *КЫЛЫП* – при объектном.

Сибирские тюркские языки *КЫЛЫП* практически не используют. Их яркой особенностью является то, что в них есть также значительные ограничения на использование прилагательного в его основной форме в качестве депиктива. В них также практически отсутствуют абстрактные слова со значением ‘состояние’. В качестве компенсации в них распространены депиктивы, выраженные дательным падежом прилагательного.

Литература

1. Невская, И. А. (1998): Основные типы именных и глагольных сказуемых в шорском языке // Редлих, С.М. и др. (ред.). Качество

- подготовки и проблемы повышения конкурентоспособности выпускников педвузов на рынке труда. Материалы научно-практической конференции. Новокузнецк. С. 64-71.
2. Тыбыкова, А. Т. (1988): Типы именного сказуемого в алтайском языке. // Убрятова, Е. И. (ред.). Компоненты предложения (на материале языков разных систем). Новосибирск. С. 52-67.
 3. Halliday, M. A. K. (1967): Notes on transitivity and theme in English. Part 1. In: *Journal of Linguistics* 3, 37-81.
 4. Nevskaya, I. & Tazhybaeva, S. (2010): Depictive predicates in Northwest Turkic. In: *Abstracts of the 15th International Conference on Turkish Linguistics*. August 20-22, 2010. Szeged, Hungary.
 5. Nevskaya, I. A. (2008): Depictive secondary predicates in South Siberian Turkic. In: Schröder, Ch. et al. (Eds). *Secondary predicates in Eastern European languages and beyond*. Oldenburg: BIS-Verlag. 275–294.
 6. Nichols, J. (1978): Secondary predicates. In: *Proceedings of the Berkeley Linguistics Society* 4, 114-127.
 7. Paul, H. (1919): *Deutsche Grammatik*. Bd. 3. Halle/Saale.
 8. Pinkster, H. (1988): *Lateinische Syntax und Semantik*. Tübingen.
 9. Plank, F. (1985): Prädikativ und Koprpädikativ. In: *Zeitschrift für Germanistische Linguistik* 13, 154-185.
 10. Schroeder, Ch. (2004): *Depiktive im Sprachvergleich Deutsch-Türkisch. Eine kontrastiv-typologische Analyse*. Habilitationsschrift. Osnabrück.
 11. Schultze-Berndt, E., Himmelmann, N. (2004): Depictive secondary predicates in cross-linguistic perspective. *Linguistic Typology* 2005/8.

Комплексный анализ готских абстрактных существительных в системе именного склонения.

И. В. НОВИЦКАЯ (ТОМСК)

Фрагментарность исследований абстрактных существительных (АС) в диахронической германистике обозначила необходимость комплексного описания данного лексико-грамматического разряда, предполагающего выявление имён существительных готского языка, относящихся к разряду абстрактных; комплексное изучение их словообразовательных, структурных, семантических, парадигматических особенностей и историческую интерпретацию их места в системе склонения. Подобное многостороннее исследование позволяет полнее представить состав лексико-грамматического разряда АС в готском языке, выявить специфику «абстрактности» на древнейшем этапе развития германских языков, отчетливо показать типы склонения в готском языке, в которых наблюдается наибольшая концентрация АС, и продемонстрировать роль основообразующих формантов в формировании разряда АС.

Сплошная выборка АС в готском языке [S. Feist, W. Lehmann, и др.] позволила установить общую картину положения абстрактной лексики в готской системе склонения и установить, что, являясь значительным пластом словарного состава готского языка (из 1139 проанализированных слов 592 единицы (т.е. 51,9754 %) относятся к разряду АС), она неравномерно распределяется по всей системе склонения, отдавая предпочтение основам, обнаруживающим тесную связь с ж. р. [Новицкая 2002].

В качестве источников абстрактной лексики могут быть названы практически все знаменательные части речи, хотя ведущими являются различные виды глагола и имя прилагательное. Приблизительно

десятая часть (13,34 %) всех АС готского языка является продолжением и.-е. или германских корней.

В словообразовательном плане АС готского языка могут быть охарактеризованы как преимущественно суффиксальные образования, причем в качестве суффиксальных словообразовательных морфем могли служить как суффиксы (278 слов – 46,96 %), так и основообразующие элементы (314 слов – 53,04 %). Наличие в морфологической структуре АС префиксальных морфем объясняется их производством от префиксальных глаголов.

Учет особенностей архаичного сознания и мышления древних германцев выявил «материальный», «вещный» характер абстрактных понятий в представлении древних германцев [Феоктистова 1984; Левицкий 2001], что словообразовательно эксплицировалось в морфологической структуре слова посредством специализированных суффиксов, которые акцентировали внимание на тесной связи абстрактного понятия, выражаемого словом, с предметом или лицом, ассоциирующимся с этим абстрактным понятием. Поэтому семантическим стержнем, объединяющим все многообразие готского абстрактного словаря, является значение реляционности, которое развилось на основе значения принадлежности, свойственного основообразующим формантам [Новицкая 2002, 2007].

В целом, выступая в качестве более позднего явления, ЛГР АС в готском языке представляет собой хронологически смешанное единство. Слой древнейших абстрактных существительных был унаследован в готский язык из и.-е. языковой общности и включал морфологически простые имена консонантных или гласных основ, словообразовательно маркированные основообразующими формантами *-in/-an-*, *-ja-*, *-jō-*, *-wa-*, *-wō-*, *-u-*, *-ō-*, *-ōp-*, *-jōp-*, выполнявшими функцию, сходную

суффиксам органической принадлежности. Впоследствии абстрактный словарь в готском языке пополнялся за счет реляционных отглагольных и отыменных существительных *ein-*, *a-*, *ō-*, *i-*основ, в которых основообразующие форманты взяли на себя роль словообразовательных аффиксов и маркеров грамматического рода. Особенностью готского языка явилось образование специальных типов склонения ж.р. на *-ein* и *-ī*, в которых концентрировались АС, образованные от прилагательных и глаголов при помощи суффиксов *-ein-*, *-eini-*, *-aini-*, *-ōni-*, которые служили не только показателями типа склонения, но и являлись маркерами «абстрактности». Расширили круг словообразовательных элементов абстрактности в готском языке структурно более сложные и отчетливые суффиксы *-assu-*, *-inassu-*, *-ofu-/odu-*, *-īpa-/ida-*, которые в качестве своих первоисточников имели древние и.-е. суффиксы, профилированные на маркирование абстрактного содержания.

Анализ употребления АС в готских текстах позволяет предположить полисемантизм и полифункциональность основообразующих суффиксов, профилированных на маркирование АС. Реконструируемый спектр возможных значений основообразующих суффиксов включает в себя семантику одушевленности / неодушевленности, активности / инактивности, лица / не-лица, принадлежности, реляционности и, наконец, определенности. В последнем случае речь идет об основообразующем суффиксе целого парадигматического класса – суффиксе *-ein-*, который, имея местоименную природу, мог использоваться для маркирования более конкретных по содержанию имен за счет заложенной в нем индивидуализирующей семантики.

В целом, проанализированный материал готского языка позволяет выявить некоторые тенденции структурирования абстрактно-

го лексикона в системе склонения, которые могут быть свойственны и другим германским языкам.

Литература

1. Левицкий В. В. Семантический синкретизм в индоевропейском и германском // Вопр. языкознания. – 2001. – № 4. – С. 94-106.
2. Новицкая И. В. Историческая интерпретация абстрактных существительных в системе склонения в готском языке : дис. ... канд. филол. наук / И. В. Новицкая. – Томск, 2002. – 237 с.
3. Новицкая И. В. Исторический анализ некоторых основообразующих суффиксов в готском языке // *Lingua Gotica*. – Калуга : Изд-во «Эйдос», 2007. – С. 192-201.
4. Феоктистова Н. В. Формирование семантической структуры отвлеченного имени / Н. В. Феоктистова. – Л. : Изд-во Ленингр. ун-та, 1984. – 188 с.
5. Feist S. *Etymologisches Wörterbuch der Gotischen Sprache* / S. Feist. – Halle : Druck von Karras, Kröber und Nietschmann, 1920. – 448 s.
6. Lehmann W. P. *A Gothic etymological Dictionary* / W. P. Lehmann. – Leiden : E.J. Brill, 1986. – 712 p.

Качественные признаки ‘полный’ и ‘пустой’ в валлийском языке

Е.А.ПАРИНА (МОСКВА)

В настоящем докладе рассматриваются прилагательные валлийского языка, выражающие значения ‘полный’ и ‘пустой’. Основными лексемами для этих значений являются, соответственно, *llawn* – ср.-корн. *luen*, *leun*, др.-брет. *-lon*, брет. *leun*, ирл. *lám* < кельт. **lāno-* < и.-е. **p̥l̥-no* от корня **pe-* ‘наполнять’, ср. санскр. *pūrṇá-s*, лат. *plēnus* [GPC 2112] и *gwag* – заимствование из лат. **uacius* через **uacus* или, возможно, из **uacans* – др.-корн. *guac*, ср.-брет. *gwak* [GPC 1552]. Данные лексемы хорошо зафиксированы на всем протяжении письменной истории языка, они достаточно частотны, что позволяет находить многочисленные примеры их словоупотребления в небольших по объему исторических корпусах, имеющих в распоряжении исследователей валлийского языка ([Thomas, Smith, Luft 2007]; [Mittendorf, Willis 2004]. Использование параметров, выделенных для описания прилагательных, обозначающих данные признаки, в рамках лексико-типологического исследования (см. [Тагабилева, Холкина 2010]), делает возможным решение следующих задач:

описание многозначности данных лексем и их квазисинонимов в средневаллийском, ранненововаллийском и современном валлийском языке;

сравнение их семантики с семантикой когнатов в других бриттских и, шире, кельтских языках;

оценка тривиальности или исключительности выявленных семантических сдвигов с точки зрения лексической типологии.

Библиография

1. Тагабилева М., Холкина Л. Качественные признаки «пустой» и «полный» в типологическом освещении // Доклад на Международной научной конференции «Проблемы лексико-семантической типологии», Воронеж, 8-9 октября 2010 г.
2. Geiriadur Prifysgol Cymru. R. J. Thomas, Gareth A. Bevan and P. J. Donovan (eds.) Cardydd: Gwasg Prifysgol Cymru, 1967-2002.
3. Thomas, Peter Wynn, D. Mark Smith a Diana Luft, 2007. Rhyddiaith Gymraeg 1350-1425. <http://www.rhyddiaithganoloesol.caerdydd.ac.uk>.
4. Mittendorf, Ingo and David Willis, eds. 2004. Corpws hanesyddol yr iaith Gymraeg 1500-1850/A historical corpus of the Welsh language 1500-1850. <http://people.pwf.cam.ac.uk/dwew2/hcwl/menu.htm>.

Вывод закона синхронного полисемического распределения языковых знаков на основе диссипативной стохастической динамической модели эволюции знаковых ансамблей

ПОДДУБНЫЙ В.В. (ТОМСК)
ПОЛИКАРПОВ А.А. (МОСКВА)

В работах [1, 2] представлена эволюционная модель жизненного цикла языкового знака – от момента его зарождения до момента выхода из употребления. Жизненный цикл знака определяется двумя основными процессами: процессом роста полисемии знака (приобретения знаком новых, как правило, всё более абстрактных значений) и процессом постепенного выхода из употребления ранее приобретённых значений, начиная с наименее абстрактных. Способность знака к порождению новых значений была названа его ассоциативно-семантическим потенциалом (АСП), она измеряется максимальным количеством значений знака, которые он способен породить в ходе его жизненного цикла. Первый процесс, процесс приобретения знаком новых значений, постепенно замедляется по мере уменьшения («растрачивания») АСП. Второй процесс, процесс потери ранее приобретённых значений, начинается с некоторым запаздыванием по отношению к первому и протекает аналогично, но более медленно. Разность между количеством приобретённых знаком значений и количеством значений, вышедших из употребления к данному моменту времени, составляет размер актуальной полисемии знака, т.е. количество живущих в этот момент времени значений знака. Кривая развития этого процесса во времени для каждого знака – унимодальная кривая с максимумом, смещённым к началу процесса.

Языковые знаки в общем ансамбле знаковых единиц данного уровня (например, лексического) различаются величинами их АСП и, соответственно, параметрами кривой развития их полисемии. Более того, есть основания допустить, что в любом знаковом ансамбле того или иного национального языка знаки по их АСП находятся не в хаотическом, а во вполне закономерном статистическом соотношении. То есть, АСП знаков распределены сообразно некоторому закону, а именно – согласно экспоненциальному (показательному) закону. Если это так, то и конфигурация пучка полисемических траекторий разных знаков, появляющихся в данном языке в некоторый период времени и последовательно развивающихся (реализующих их АСП), тоже должна определяться этим законом.

Рассмотрение одномоментного сечения всех полисемических траекторий всех знаков, продолжающих жить (т.е. продолжающих приобретать и/или терять ранее приобретённые значения) даёт картину синхронного соотношения знаков по величине актуальной полисемии – числу присущих им (в данный момент) значений. Эмпирическая статистика синхронного (одномоментного) распределения полисемии всего ансамбля лексических знаков того или иного языка на сегодняшний день содержится в словарях или корпусах текстов.

Возникает вопрос, может ли некоторая математическая модель процесса эволюции языковых знаков прогнозировать синхронное (одномоментное) распределение полисемии, адекватное эмпирическим распределениям, полученным, например, из представительных словарей разных языков?

Наш ответ заключается в том, что если в эволюционной (диахронической) модели учтены действительно принципиальные особенности, наиболее фундаментальные закономерности реальной жизни,

реального соотношения микро-объектов (лексем) по их динамическим свойствам в изучаемом макро-объекте (словаре), то и теоретически реконструируемые на этой основе синхронные срезы того или иного состояния словарного ансамбля (при условии стационарности моделируемого процесса, стабильности его внешних условий) должны быть близки тому, что есть в реальности.

Для того чтобы осуществить указанный прогноз (а также для математического моделирования и других существенных характеристик процессов и состояний в лексике и в других знаковых ансамблях языка – морфемных и фразеологических) нами предложена [3] диссипативная стохастическая динамическая модель развития языковых знаков, удовлетворяющая принципу «наименьшего действия», одному из фундаментальных вариационных принципов природы. Модель предполагает пуассоновский характер потока рождения языковых знаков, экспоненциальное (показательное) распределение знаков по их АСП и оперирует разностными стохастическими уравнениями специального вида, вытекающими из принципа наименьшего действия для диссипативных процессов.

Выпишем эти уравнения для i -го знака ансамбля, снабдив процесс рождения новых значений верхним индексом 1, а процесс выпадения значений из употребления – верхним индексом 2:

$$\begin{aligned} t_{i,k+1}^{(1,2)} &= t_{i,k}^{(1,2)} + \tau_i^{(1,2)} / (G_i - k) + \zeta^{(1,2)}, & k = \overline{1, G_i - 1}, \\ t_{i,1}^{(1)} &= t_i, \quad t_{i,1}^{(2)} = \tau_{0i} + t_i, \quad \tau_i^{(2)} > \tau_i^{(1)}, & i = \overline{1, N}. \end{aligned} \quad (1)$$

Здесь $t_{i,k}^{(1,2)}$ – момент рождения (индекс 1) или выхода из употребления (индекс 2) k -го значения i -го знака, G_i – случайный АСП i -го знака (распределён по показательному закону со средним значением $\langle G \rangle$), t_i – случайный момент появления в языке i -го знака, так что $t_{i+1} = t_i + \tau$, где τ – случайный интервал времени между появлением соседних знаков

(распределён по экспоненциальному закону со средним значением $\langle \tau \rangle$), τ_{0i} – случайное запаздывание начала процесса выхода из употребления значений i -го знака по отношению к моменту появления знака в языке (распределено по экспоненциальному закону со средним $\langle \tau_0 \rangle$), $\tau_i^{(1,2)} = c^{(1,2)} \langle G \rangle / G_i$ – постоянные времени процессов рождения новых значений знака и выхода их из употребления (обратно пропорциональны АСП, так что они случайны и их распределение определяется распределением АСП), $\xi^{(1,2)}$ – случайные флуктуации моментов рождения и выхода из употребления значений знака (распределены по равномерному закону с нулевыми средними и полуширинами интервалов распределения $\tau_i^{(1,2)} / (G_i - k)$), N – число знаков (слов) в языке. Очевидно, $L_{i,k} = t_{i,k}^{(2)} - t_{i,k}^{(1)}$ – длительность жизни k -го значения i -го знака. Нетрудно видеть, что эта величина подчиняется рекуррентному соотношению:

$$\begin{aligned} L_{i,k+1} &= L_{i,k} + (\tau_i^{(2)} - \tau_i^{(1)}) / (G_i - k), \\ L_{i,1} &= \tau_{0i}, \quad k = \overline{1, G_i - 1}, \quad i = \overline{1, N}, \end{aligned} \quad (2)$$

так что $L_{i,k+1} > L_{i,k}$, т.е. длительность жизни каждого значения любого i -го знака увеличивается с ростом k . Возраст k -го значения i -го знака в момент времени t равен $A_{i,k}(t) = t - t_{i,k}^{(1)}$, если в момент времени t это значение существует (уже появилось, но ещё не вышло из употребления, т.е. если $t_i < t < t_{i,G_i}^{(2)}$).

Полисемия i -го знака развивается с момента $t_{i,1}^{(1)} = t_i$ появления i -го знака в языке до момента $t_{i,G_i}^{(2)} = t_i + \tau_{0i} + L_{i,G_i}$ выхода из употребления последнего (G_i -го) значения i -го знака. Интервал времени длиной $\tau_{0i} + L_{i,G_i}$ от $t = t_{i,1}^{(1)}$ до $t = t_{i,G_i}^{(2)}$ есть интервал жизненного цикла i -го знака.

Модель (1) является диссипативной стохастической динамической моделью эволюции ансамбля языковых знаков. В этой модели 5 параметров:

- интенсивность потока новых знаков $1/\langle\tau\rangle$ (или средний интервал времени $\langle\tau\rangle$ между появлением соседних знаков в потоке),
- среднее запаздывание начала процесса выхода значений знака из употребления по отношению к моменту появления знака в потоке $\langle\tau_0\rangle$,
- среднее значение АСП $\langle G\rangle$,
- коэффициенты $c^{(1)}$, $c^{(2)}$ ($c^{(1)} \ll c^{(2)}$) обратно пропорциональной зависимости постоянных времени процессов рождения и выхода из употребления значений знака от его АСП (приблизительно равны средним значениям $\langle\tau^{(1)}\rangle$, $\langle\tau^{(2)}\rangle$ этих постоянных времени, причём $\langle\tau^{(1)}\rangle \ll \langle\tau^{(2)}\rangle$).

Для проверки адекватности модели (1) на материале лексических знаков использовалось 5 представительных словарей русского и английского языков (3 русского и 2 английского) разных типов (типология толковых словарей представлена в работе [4]):

ССРЛЯ – "Словарь современного русского литературного языка" в 17-ти тт. (1948–1965), (большой по типу словарь);

МАС – "Словарь русского языка" в 4-х тт. под ред. А. П. Евгеньевой (1957–1961), (средний по типу словарь);

СО – "Словарь русского языка" С. И. Ожегова (1972, 9-е издание), (краткий по типу словарь);

Shorter – "Shorter Oxford English Dictionary" (1962), (средний по типу словарь);

Hornby – A.S. Hornby. "Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English" (1982), (краткий по типу словарь).

На рис. 1 представлено семейство эмпирических кривых распределения полисемии, полученных из указанных словарей.

На рис. 2–6 для каждой из эмпирических кривых распределения полисемии, полученных из словарей, приведены кривые распределения

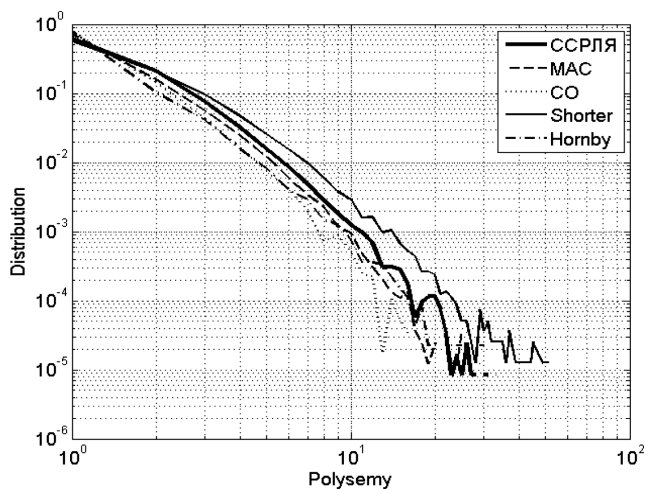


Рис. 1. Семейство эмпирических распределений лексической полисемии по 5 словарям русского и английского языков

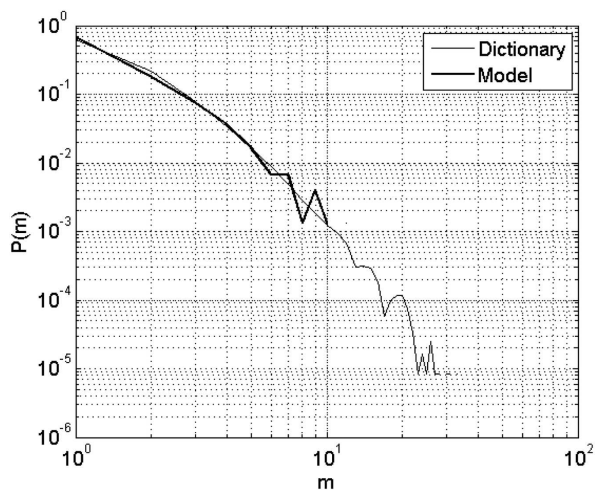


Рис. 2. Распределения лексической полисемии по словарю ССРЛЯ и по модели $m_M = 1,6388$, $m_D = 1,6973$, $\sigma_M = 1,286$, $\sigma_D = 1,3998$, $H = H_0$: $p = 0,99133$

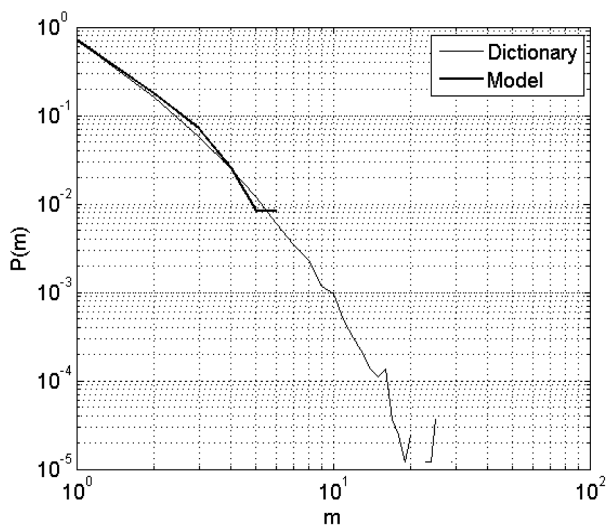


Рис. 3. Распределения лексической полисемии по словарю MAC и по модели

$$m_M = 1,4697, m_D = 1,503, \sigma_M = 0,89921, \sigma_D = 1,1651, H = H_0: p = 0,99996$$

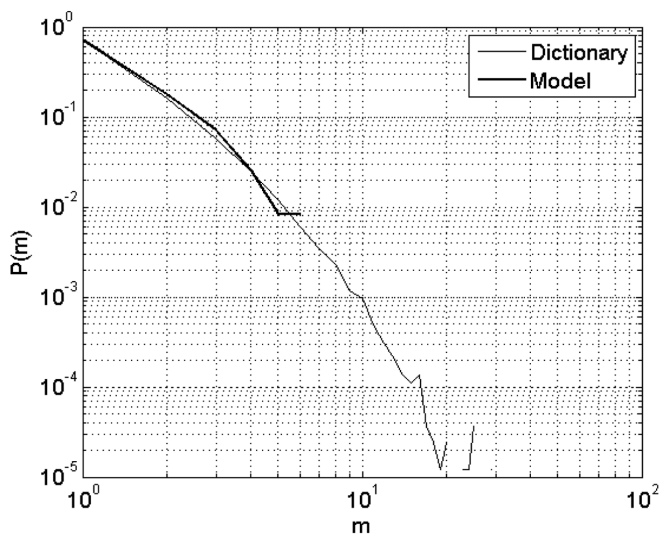


Рис. 4. Распределения лексической полисемии по словарю CO и по модели

$$m_M = 1,4697, m_D = 1,6973, \sigma_M = 0,89921, \sigma_D = 1,1651, H = H_0: p = 0,99996$$

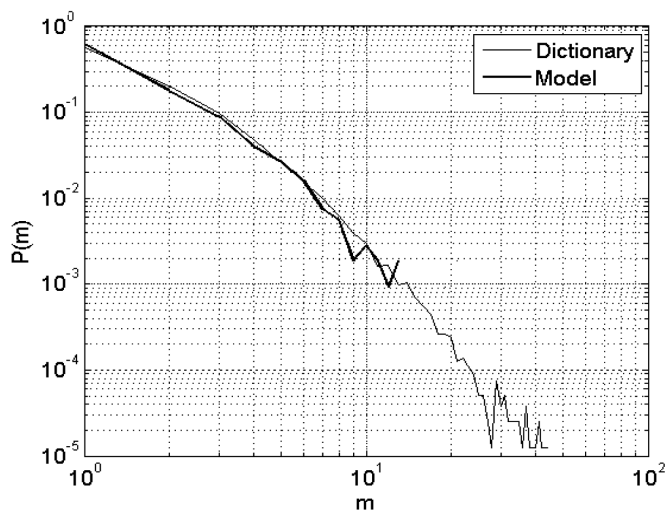


Рис. 5. Распределения лексической полисемии по словарию Shorter и по модели
 $m_M = 1,9027$, $m_D = 2,0114$, $\sigma_M = 1,8938$, $\sigma_D = 2,004$, $H = H_0$: $p = 0,53091$

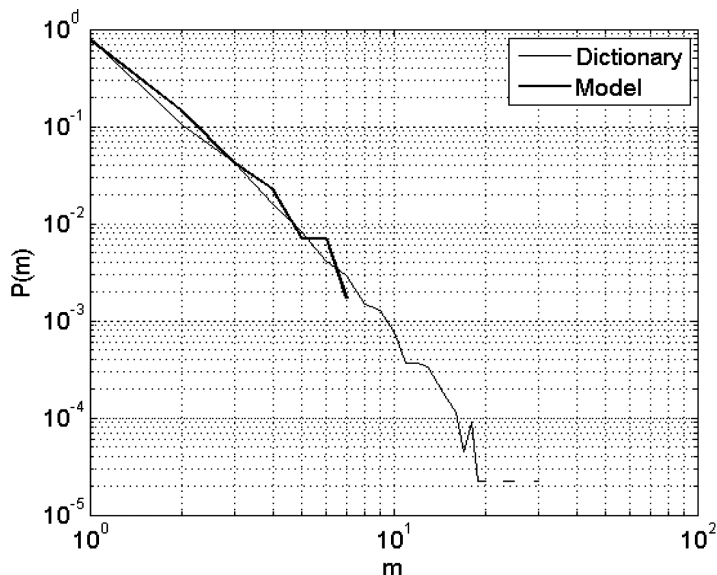


Рис. 6. Распределения лексической полисемии по словарию Hornby и по модели
 $m_M = 1,3654$, $m_D = 1,3597$, $\sigma_M = 0,84794$, $\sigma_D = 1,0909$, $H = H_0$: $p = 1$

полисемии, выведенные по синхронному (одномоментному) срезу диссипативной стохастической модели эволюции ансамбля из нескольких десятков тысяч языковых знаков. Модель идентифицировалась для каждого словаря соответствующим подбором указанных выше 5 параметров.

Как видно по рис. 2–6, выведенные из нашей модели распределения полисемии (жирные линии) статистически значимо (по критерию Колмогорова-Смирнова) не отличаются от эмпирических распределений, полученных на основе данных из указанных выше представительных словарей русского и английского языков (тонкие линии). Более того, эволюционно-полисемические параметры $\langle \tau \rangle$, $\langle \tau_0 \rangle$, $\langle \tau^{(1)} \rangle$, $\langle \tau^{(2)} \rangle$, $\langle G \rangle$, (т.е. те параметры, которые были исходно заложены в модель и отвечают за скорость смены значений и слов в языке) оказались имеющими и синхронный, лингво-типологический смысл. А именно, словарь английского языка, как языка явно относительно более аналитического, более ограничен по набору лексических единиц, чем словарь русского языка. Вследствие этого максимальная, а также средняя полисемическая, а поэтому и максимальная и средняя частотная нагрузка на каждую английскую лексическую единицу должна быть выше, а «изнашивание» каждой из них в английском языке вследствие этого должно происходить быстрее. То есть, в целом, языковой «метаболизм» (смена знаков и значений) в английском языке должен осуществляться интенсивнее, чем в русском. Это, в частности, должно также проявляться в относительно меньшей сохранности лексического материала английского в сравнении с русским за один и тот же период времени, например, за тысячелетие. Данные по сохранности лексических единиц русского и английского языков за последнее тысячелетие по глоттохронологическому списку подтверждают этот вывод. Проверка вывода на более широком словарном материале сейчас проводится.

Особенности почерка хеттского писца Ханикуили (13 в. до н.э.)

О. В. ПОПОВА (МОСКВА)

Выводы о фонетической природе хеттского языка делаются на основании изучения графики. Рассматривая написание знаков, можно выделить некоторые закономерности, которые часто отображают определенные фонетические реалии. Проблема заключается в том, что написание зависело также в немалой степени от личности писца, от традиций школы, из которой он вышел. И не всегда следует приписывать особенности почерка одного писца всему периоду языка и письма в целом.

Так, с одной стороны Д. Р. Харт (Hart 1983) делает предположение о факторе моды, влияющем на употребление определенных знаков при выборе знака из пары глухой / звонкий. С другой стороны, И. Якубович (Yakubovich 2009) показывает, что, например, употребление / неупотребление знаков pi (HZL¹ 72) и pe (HZL 169) в некоторых новохеттских текстах зависело от личного выбора писца и не определяло тенденцию всего периода.

Доклад посвящен особенностям почерка хеттского писца Ханикуили (Hanikuili DUB.SAR). Ханикуили является писцом, в частности, текста КВо VI 4, новохеттского текста, написанного во время правления Тудхалии IV или Арнуванды III (приблизительно в 1220 г. до н.э.). Часто ремесло писца передавалось из поколения в поколение. Так, для Ханикуили Г. Бекман (Beckman 1983) восстанавливает следующую родословную, которая, как он допускает, может быть неполной: Hanikuili DUB.SAR < NU.GIŠ.KIRI₆ < Ziti GAL DUB.SAR.MEŠ <

¹ Rüster Ch., Neu E. Hethitisches Zeichenlexikon, 1989

Karunu(wa) LÚ-halipi ŠA KUR.UGU < Hanikuili DUB.SAR GAL
NA.GAD < Anu-šar-ilāni DUB.SAR BAL.BI.

Таким образом, Ханикуили, вероятно, является потомком месопотамских писцов, прибывших в Хатти еще во времена Телипину.

Целью исследования является выяснить, насколько употребление знаков зависит от писца и от традиций конкретной школы / семьи писцов. Возможно, у каждой из них есть свои особенности, которые передаются из поколения в поколение. С другой стороны, вероятно, время тоже влияет на употребление знаков. Таким образом, мы постараемся ответить на вопрос, как на Ханикуили влияет эпоха и как на него влияет школьная / семейная традиция. А также мы сделаем несколько замечаний относительно особенностей написания знаков Ханикуили.

Так, например, количество идеограмм в тексте велико, что отвечает тенденциям новохеттского периода. Ханикуили употребляет как знак *ne*, так и знак *ni*. Если говорить об употреблении пар смычных согласных, например, пары *ta/da*, для которых Д. Р. Харт выделяет предпочтение *da* в среднехеттский и новохеттский периоды, то этот текст вряд ли может подтвердить или опровергнуть это утверждение. Выбор знака в случае этой пары зависел скорее от морфемы. Так 23 употребления знака *da* (HZL 214) сводятся к 9 морфемам (*anda*, *dam(m)eda* "в другом месте", *pēda* "место", *dāi* "класть", *dasuwahh* "ослеплять", *sarhuwanda* (< *sarhuwant* "утроба"), *idalu* "злой", *hūmant* "весь", *apēdani* (< *apa* "тот")), а 12 употреблений знака *ta* (HZL 160) – к 7 морфемам (*wasta* "нарушать", *sāktāi* "заботиться", *SIG₅-tar* "милость", *kusata* "выкуп", *-sta* окончание 3 Sg.Pret., *har-kán-ta*... (< *harkant* "погибший"), *ta* "и") и один раз встречается на стыке морфем.

Что касается особенностей написания знаков, то можно отметить, в частности, написание лишних клиньев в таких знаках, как kán (HZL 61), ták (HZL 243), É (HZL 199), ir (HZL 77) и в некоторых других. Также Ханикуили обязательно ставит последний знак последнего слова строчки на краю таблички, даже если при этом знак сильно оторван от начала слова. Таким образом, по всему краю таблички есть знаки.

Литература

1. Keilschrifttexte aus Boghazköi (KBo) Heft VI, Leipzig, 1921
2. Keilschrifttexte aus Boghazköi (KBo) Heft X, Berlin, 1960
3. Beckman G. M. Mesopotamians and Mesopotamian Learning at Hattusa // JCS 35, 1983, 97-114
4. Friedrich J. Die Hethitischen Gesetze. Transkription, Übersetzung, sprachliche Erläuterungen und vollständiges Wörterverzeichnis, Leiden, 1959
5. Hart G. R. Problems of Writing and Phonology in cuneiform Hittite // TPS, Oxford, 1983, 100-154
6. Hoffner H. A., Melchert H. C. A Grammar of the Hittite Language, Indiana, 2008
7. Kümmel, H. M. Ersatzrituale für den hethitischen König. StBoT 3, Wiesbaden:
8. Harrassowitz, 1967
9. HZL = Rüster Ch., Neu E. Hethitisches Zeichenlexikon: Inventar und Interpretation
10. Der Keilschriftzeichen aus den Boghazköi-Texten. StBoT, Beiheft 2. Wiesbaden, 1989
11. Yakubovich I. Sociolinguistics of the Luvian Language, Leiden: Boston, 2009.

LIV^{Free} (a series of *Likely Ignorable Variations* on indo-european themes)

By Jude Krakauer and friends

A. M. RAMER

1. Slavic ‘Human Being’¹

Proto-Slavic **čelověkъ* (reflected among others in Russian) ~ **čblověkъ* (found among others in Polish; also apparently borrowed into Let. as *cilvēks*) ‘human being’ is a famous chestnut of comparative etymology. Instead of reviewing the rollcall of failed attempts, we simply submit our own proposal that this is an old bahuvrīhi (possessive) compound: **“(one) whose TIME (= Slavic *věkъ*) is (but) a WHILE ($\approx$ Goth. *hveila*)’*. On the meaning side, this confirms yet again that old IE names for our species typically contrast us with the gods, either emphasizing our mortality (e.g., Armenian *mard*) or our connection to the surface of the earth (e.g., Latin *homō*). As for the form, the derivation of *věkъ* is well-known, and so is the process of forming exactly this kind of possessive compound in just the way in which this word is in fact formed (members in the right order and so on). The only difficult hing to explain is (as Eric P. Hamp emphasized decades ago) the alternation that we see here between the (apparent) **k^welo-* and the (real) **k^wilo-*, and the relation of these to the Germanic words that mean ‘while’. Now, the root we are dealing with here is the famous $\sqrt{*k^wēih_} \sim \sqrt{*k^wieh_}$ ‘to be quiet, to rest’ (or the like).

To get to **čelo-*, we start out with the full grade **k^wieh₁-l-o-*, and then apply the *grumusòtòì* rule, which in a compound may optionally (though this surely was not the original situation) apply to any laryngeal that we need to get out of the way and remove it—or rather REDUCE it, as shown by Rasmussen in his path-breaking study of, among other things, Lat. *cognitus*

¹ Thanks to Brent Vine and Michael L. Weiss for comments and suggestions.

(n.b. NOT ^x*cognātus*, as we would get if there were no such rule, and NOT ^x*cogentus*, either, as we would if the laryngeals were just dropped entirely). This then gives us **k^wje-l-o-*, NOT **k^we/o-*. And to derive *čb/o-* all we need is **k^wih₁-l-o-*, with the same grumusòtòì rule doing the same thing. Everything else should be clear. Everything else should be clear.¹ The same seemingly puzzling *e* ~ *i* alternation in the words for ‘four’ and in a number of other cases will be explained in next.

¹ This hypothesis does imply that Germanic words such as Eng. *while* share with the first member of our Slavic compound what must have been a very special semantic development. This is not in itself surprising—nor is the fact that we do not have this attested anywhere else as yet. After all, till just now we did not have it attested anywhere outside of Germanic. Now that we know better how to look for it, perhaps we will find it somewhere else. Nor is it a valid objection to our analysis to point out that Germanic has various other derived words that embody the original basic meaning of this root; it is simply that the root continued to be productive in its original sense even after this special word had evolved (and long after the contacts between Proto-Germanic and Proto-Slavic had been severed, or rather changed very radically from those between two rather similar dialects to those between two very different languages). This is no more astonishing than the fact that, centuries after giving birth to forms with such specialized senses as *hussy* (‘a brazen or promiscuous woman’ but also ‘a mischievous, impudent, or ill-behaved girl’) and *hussif* (the nearly-obsolete name of some antique sort of sewing kit), both of which are reductions of an earlier *hus-wif*, our English language still retains both *house* and *wife* in their ORIGINAL meanings as well, and allows us to freely make such more modern and transparent derivatives as *housewife* and *wifely*. In the same way, the Proto-Germanic—Proto-Slavic linguistic continuum (not a branch of IE, of course, but rather, for a time, a “Dialektbund”) must have also retained, for perhaps an equally or even more considerable while, ☺ the original root with its original meaning even after developing this distinctive and specialized derived noun referring to ‘a short period of time’. That this unusual word continues to live to this day in Germanic while also persisting in the frozen amber of Slavic etymology—well, what could be more workaday than this in the stories we discover and then tell and retell about the vagaries of the lives of word that in turn so enliven OUR own existence as linguistic archeologists?

К проблеме сопоставления шумерского и картвельских языков

В. В. РЕБРИК (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)

Шумерский язык уже сопоставлялся с различными языковыми семьями земли. Это сопоставление весьма сложно, так как оно является диахронным. Шумерский язык намного древнее любого из языков, с которым его сопоставляли. Кроме того, исследователи не владели основами сравнительно-исторического метода исследования. В ходе исследования находили некоторые грамматические сходства и несколько сот слов, звучащих похоже, на основании чего делался вывод о генетическом родстве шумерского с тем или иным языком. В отличие от предыдущих исследований, наш метод исследования является практически синхронным. Сопоставление проводится не между шумерским и каким-либо современным языком, а между шумерским и реконструированным предыдущими исследователями (Климов, Фенрих – Сарджвеладзе) протокартвельским языком, существовавшим уже в 3 тыс. до н.э. В итоге были найдены 74 соответствия между шумерским и протокартвельским, относящиеся не только к лексике, но и к грамматике. Кроме того, были определены основные фонетические соответствия в области вокализма и консонантизма. На основе соответствий между шумерским и протокартвельским языком была в общих чертах реконструирована грамматика шумеро-картвельского языка. В нем было пять падежей (абсолютив, эргатив, *Casus obliquus*, аблатив-инструменталис и комитатив-терминатив. Можно также реконструировать личные и possessивно-указательное местоимения. Реконструкция числительных не удастся. В области глагола можно реконструировать две временные формы (презентс-футурум и имперфект). Соответствуют друг другу также суф-

фиксы и префиксы. В области синтаксиса реконструируется «вербоцентрическая» структура и порядок слов S-O-V. Лексические соответствия позволяют установить неолитическую датировку гипотетической шумерокартвельской семьи языков – 7-6 тыс. до н.э. На тему работы автором были опубликованы две статьи (на грузинском и немецком языках).

Греческие истоки некоторых русских цветообозначений (к проблеме заимствования)

И. В. САДЫКОВА (ТОМСК)

Человеческий глаз способен различать тысячи оттенков цвета, отличая их по яркости/тусклости, насыщенности, чистоте тона. Всё это многообразие цветовых оттенков можно разделить на достаточно ограниченное количество групп, в которых объединены цветовые ощущения близкого тона, например, группа белого цвета, группа черного цвета, группа зеленого цвета, группа красного цвета и т.д. В такие же группы объединяются и имена цвета, называющие оттенки одного и того же цветового тона. Однако наполняемость этих групп лексемами будет различной в зависимости от языка и цвета, так как разные цвета имеют разное значение в жизни того или иного народа и поэтому в неодинаковой степени поименованы в языке.

Одним из наиболее интересных, на наш взгляд, цветовых тонов является красный цвет, это особенный во многих отношениях цвет. Во-первых, он достаточно редко встречается в природе, по сравнению, например, с синим (цветом неба и водной стихии) или зеленым (цветом растительности) цветами. Поэтому он отчетливо распознается человеком, тогда как синий и зеленый цвета могут сливаться в один, при этом и для обозначения этих цветов может служить одна лексема (например, лат.*caeruleus* называет и темно-синий, и темно-зеленый цвета). Во-вторых, красный цвет с древнейших времен связан с двумя самыми важными для человека субстанциями – огнем и кровью, которые символизируют человеческую жизнь. Поэтому и сам красный цвет является символом радости, здоровья, красоты, жизни, хотя этот цвет может ассоциироваться и с противоположным понятием – смертью,

так как красный – это и цвет проливаемой в сражении крови. В третьих, люди с давних пор обнаруживают особое пристрастие к красному цвету: в одежду красного цвета одевались цари и императоры, что было символом их могущества, власти, богатства; одежда красного цвета считалась праздничной, нарядной, ее одевали по особым случаям; с помощью предметов красного цвета оберегались от злых сил и лечили различные недуги. И, наконец, красный цвет – это цвет, который во многих индоевропейских языках имеет развитую систему обозначений. Не является исключением в этом смысле и русский язык.

Развитие группы обозначений красного цвета в русском языке шло, как нам представляется, в двух направлениях: с одной стороны, вырабатывалось обобщенное, наиболее абстрактное обозначение красного цвета, которое бы называло любой оттенок этого тона, в разное время в этом процессе участвовали имена цвета *рудой/рудый, чермный, червень/червонный, красный* (в современном русском языке эту функцию выполняет прил. *красный*). С другой стороны, в русском языке постоянно появляются новые цветообозначения, называющие различные оттенки красного цвета, которые используются для более точного, детального описания окружающей действительности. Пополнение группы обозначений красного цвета идет за счет приобретения относительными прилагательными цветового значения. Следует также отметить, что имена цвета образуются не только от исконно русских прилагательных, но и от заимствованных лексем. В качестве источника заимствования выступают латинский, древнегреческий, персидский, арабский и другие языки. В настоящей работе рассматриваются история и происхождение цветообозначений *киноварный* и *свекольный* в русском языке.

Прилагательное *киноварный* начинает фиксироваться в русском языке с XVII века, причем как с относительным значением («окрашенный киноварью»), так и с цветовым («красного цвета»). Использовалось для характеристики окрашенных предметов, имеющих ярко-красный, собственно красный или с некоторым добавлением желтого оттенка тон. Образовано прил. *киноварный* от сущ. *киноварь* «сернистая ртуть, минерал различных оттенков красного цвета; минеральная краска, получаемая из сернистой ртути», которое является в русском языке греческим заимствованием, что произошло около XII века: греч. *κιννάβαρι* со значением «драконова кровь (краска живописца); киноварь; название растения = *ἐρυθρόδανον*» было заимствовано в русский язык, видимо, устным путем, о чем свидетельствует, в частности, передача греч. *β* как рус. *в*, отсутствие двойного согласного в русском слове [1, 1, 9, 855; 2, 1, 308; 3, 2, 234]. В самом же греческом языке *κιννάβαρι* считается иностранным словом, взятым греками из неизвестного восточного источника [1, 1, 9, 855]. В современном русском языке прил. *киноварный* имеет ограниченную сферу функционирования, которую можно обозначить как область живописи и печатного дела, причем семантика цвета реализуется у него в словосочетаниях типа *киноварный цвет, киноварные буквы, киноварная окраска* [4, 5, 949; 5, 1, 1355].

Лексема *свекольный* функционирует в русском языке с XVI века, однако цветовая семантика появляется у нее только в XX веке, при этом называет данное прилагательное темно-красный, смешанный с синим или лиловым оттенок красного цвета. Будучи цветообозначением, прил. *свекольный* используется для описания предметов с природной окраской (уши, щеки и под.), имеющих цвет, подобный тому, что наблюдается у свеклы. Образовано же *свекольный* в русском языке от

сущ. *свекла*, которое в такой форме появляется в русском языке в XVI веке, а до этого момента имело облик *сеукль* [6, 3, 343]. Лексема *свекла* заимствована из греческого языка, где фиксировались формы *σεῦκλον / σεῦτλον* (ион. *τεῦτλον*) со значением «(белая) свекла» [7, 2, 1469].

Итак, представленные прилагательные приобретают цветовую семантику на базе относительного значения, при этом они демонстрируют ведущий принцип номинации оттенков красного цвета в русском языке, а именно «предмет > название предмета > имя цвета», то есть для них можно назвать предмет-эталон, послуживший основой для возникновения новых имен цвета: для цветообозначения киноварный таким эталоном является краска, получаемая из сернистой ртути, а для цветонаименования свекольный им является овощ – свекла. Кроме того, следует отметить, что оба прилагательные образованы хотя и в русском языке и средствами русского языка (с помощью суффикса -н-), но от заимствованных из древнегреческого языка лексем, которые дали русскому языку названия предметов-эталонов, которые и стали основой для появления в русском языке новых цветообозначений.

Литература

1. Frisk H. Griechisches etymologisches Wörterbuch. – Heidelberg, 1958. – Bd. 1.
2. Преображенский А.Г. Этимологический словарь русского языка. – М., 1959. – Т. 1.
3. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: В 4-х т. – М.: Прогресс, 1964-1973. – Т. 2.

4. Словарь современного русского литературного языка: В 17-ти т. – М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1950-1965. – Т. 5.
5. Толковый словарь русского языка / Гл. ред. Б.М. Волин и проф. Д.Н. Ушаков. – М.: Гос. изд-во иностран. и национ. Словарей, 1938. – Т. 1.
6. Срезневский И.И. Материалы для словаря древнерусского языка. – СПб., 1903. – Т. 3.
7. Дворецкий И.Х. Древнегреческо-русский словарь: В 2-х т. – М.: ГИС, 1958. – Т. 1-2.

Проблема «подвижных» согласных в начале индоевропейского слова

О. М. СЕРГЕЕВА (МОСКВА)

1) В ряде индоевропейских корней отмечены незакономерные и не объяснённые до сих пор чередования начального согласного с нулём звука. Наиболее известным, но, как показали наблюдения, не единственным проявлением этого феномена является так называемое *s mobile*. В более редких случаях с нулём способны чередоваться согласные *k, d, l* – назовём их аналогичным образом *mobilia*.

2) Феномен *s mobile* широко представлен в значительном числе и.-е. корней. Важная особенность этого явления, на которую до сих пор не обращали специального внимания: *s mobile* присутствует *только перед согласным*, за исключением двух случаев. Практически во всякой начальной группе «*s* + согласный» *s* оказывается подвижным. При этом отнюдь не *всякий* и.-е. корень способен иметь вариант на *s mobile*. Попытка установить на славянском материале различие в рефлексах групп с «устойчивым» и «подвижным» *s* была оспорена [Савченко 1974/2003: 117].

Касательно происхождения *s mobile* можно выделить две основные (и противоположные) точки зрения:

1. *s mobile* является исконной принадлежностью корня и спорадически утрачивается либо сохраняется.

2. *s mobile* является элементом, присоединённым к корню вторично.

Гипотеза Т. Зибса в пользу положения 2 (якобы некоторые корни на «*s*+глухой» имеют дублиеты на одиночный звонкий) не стала общепризнанной.

[Савченко 1974/2003: 72] [Семереньи 1980/2002: 108, 119] [Sihler 1995: 169]

3) Явление *k mobile* получило известность благодаря А. Мейе [Мейе 2007: 415] [Пизани 2009: 104] [Семереньи 1980/2002: 110, 143]. Всего выявлено около 10 примеров.

Важные наблюдения относительно *k mobile*:

– такое *k* не подвергается сатемизации (т. е., в соответствии с общепринятыми представлениями о пра-и.-е. заднеязычных, продолжает велярное **k*);

– в противоположность *s mobile*, наблюдается только перед гласным;

– в примере слав. КОСТЬ – греч. οστεόν, лат. os, санскр. asthi, хетт. hastis в хеттском языке *k mobile* соответствует *h*, и этот факт незамедлительно отсылает нас к случаям, когда начальное превокальное *h* хеттского слова соответствует *заднеязычным* других языков. Эти данные не столько проливают свет на происхождение *k mobile*, сколько заставляют задуматься о сложной природе хеттского *h*, в котором, вероятно, могли совпасть различные фонемы (обратное, т. е. расщепление *h* на несколько заднеязычных, почти невероятно).

4) Более редкими и тёмными являются случаи *d* и *l mobilia*.

Для *l mobile* предполагалась одна серия соответствий, охватывающая несколько и.-е. языков (И. Шмидт у [Pokorny 1959: 504]: греч. ἥπαρ, лат. jesur, санскр. yakṛt и т. д. «печень» отождествляется с др.-сканд. lifr, др.-верх.-нем. lebara, англ. liver, арм. leard «тж.») Помимо этого, имеются 2-3 примера, ограниченные только древнегреческим, самый яркий из которых – пара λεῖβω : ἐῖβω «лить по капле».

Для *d mobile* с уверенностью можно назвать всего два случая, причём в одном из них форма без начального *d* ограничена балтий-

скими языками: лит. *ilgas*, латыш. *ilgs*, прусс. *ilga*, *ilgi* против греч. *δολγός*, санскр. *dirgha-*, старослав. ДЛЪГЪ и т. д. (все – «долгий, длинный»). Во втором примере – и.-е. **(d)akru* «слеза» (диссим. из **drakru*) – формы на *d-* и без него распределены между языками «кентум» и «сатем» соответственно.

Само допущение, что *d* и *l* в этих примерах ведут себя подобно *s* и *k* *mobilia*, является лишь рабочей гипотезой. Тем не менее, если бы удалось найти единообразное объяснение «подвижности» всех четырёх согласных, такое предположение оправдало бы себя.

5) Среди возможных объяснений феномену «подвижных» согласных можно указать следующие:

1. «Подвижность» является следствием сандхиальных явлений в потоке речи. К этому объяснению прибегали довольно часто [Семереньи 1980/2002: 143] [Sihler 1995: l. c.], однако оно, при всём правдоподобии, практически неверифицируемо.

2. Такие согласные – следы древнейших препозитивных аналитических формантов, утраченных в процессе развития языка. Едва ли это были собственно префиксы (вопреки Мейе и Пизани [л.с.]), однако речь может идти, к примеру, об артиклевидных образованиях или же классификаторах наподобие тех, что имеются в китайском или ряде африканских языков.

Литература

1. Мейе А. Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков. Пер. с фр. – М., Изд-во ЛКИ, 2007⁴.
2. Пизани В. Этимология: история – проблемы – метод. Пер. с итал. – М., Книжный дом «Либроком», 2009³.

3. Семереньи О. Введение в сравнительное языкознание. Пер. с нем. Б. А. Абрамова. – (М., 1980). – М., Эдиториал УРСС, 2002².
4. Chantraine, Pierre. Dictionnaire étymologique de la langue grecque. Histoire des mots. – Paris, Éditions Klincksiek, 1968-1980.
5. Pokorny, Julius. Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. – Francke Verlag Bern und München, 1959.
6. Sihler, Andrew L. New Comparative Grammar of Greek and Latin. – New York – Oxford, Oxford University Press, 1995.

Местоименная реприза в хеттском: факт или фикция?

А.В. СИДЕЛЬЦЕВ (МОСКВА)

0. Местоименная реприза хеттского языка является вполне типичным случаем местоименной репризы, судя по типологическим описаниям (Arkadiev 2010): энклитическое местоимение третьего лица употребляется в одной клаузе и в одной функции с полноударной именной группой. Позиция именной группы внутри клаузы немаркирована. Хотя в хеттском языке местоименная реприза редка и её употребление необязательно, она представлена на всех этапах развития хеттского языка (древнехеттском, среднехеттском и новохеттском) и имеет четко определенную функцию и структуру. Необязательность употребления местоименной репризы находит параллели в других прагматических категориях (Melchert 2009). Таким образом, по нашему мнению, её невозможно считать “синтаксическим сбоем”, несмотря на всю редкость. Само существование местоименной репризы для хеттского языка было отмечено в работе (Garrett 1990), но никем не поддержано. В последней грамматике хеттского языка (Hoffner, Melchert 2008) существование местоименной репризы в хеттском не отмечается. В работе (Sideltsev 2010) мы пересмотрели примеры Гаррета, сняли их значительное количество и предложили новые среднехеттские случаи. В данной работе мы впервые предлагаем функциональный и диахронический анализ местоименной репризы.

1. Функции местоименной репризы.

1.1. Первая функция – смена дискурсивного статуса полноударной именной группы от нетопикального в предыдущей клаузе к топикальному в клаузе с местоименной репризой. Данная функция па-

раллельна одной из функций частицы *-a/ma* (Goedegebuure 2003: 327 fn. 405; Melchert 2009: 194).

NS (CTH 461.D) KUB 44.63+ Vs. II 4`-9` (Garrett 1990: 264)
 1. măn=ma=aš apiz=ma IŠTU Ú UL [SIG₅-r]i # 2. nu=šši=[kan] kī Ú anda tarneškizzi # 3. kuitma[n]=aš=kan wašši [] anda nāwi tarnai #
 4. n=an=kan hūtak SAG.DU-an [] măn 1-ŠU măn 2-ŠU GUL-ahzi #
 5. nu=šši=kan išhar arha tarnai # 6. mahhan=ma=at=šši=kan išhar arha tarnai # 7. nu=šši=kan kī Ú anda tarnai ... “(1) Но если он не выздоравливает от той травы, (2) ему эту траву прикладывает. (3) Пока он траву не прикладывает, (4) его по голове сразу либо 1 раз, либо 2 раза бьет (5) и ему кровь пускает. (6) Но когда ему её, кровь, пускает, (7) ему эту траву прикладывает”.

В этом примере *išhar* “кровь” является ремой в предыдущей клаузе 5. В клаузе 6 местоименная реприза маркирует смену дискурсивного статуса *išhar* на топикальный – данная именная группа функционирует в клаузе 6 как тема.

NS/OH (CTH 9.6) KBo 3.28 Vs. II 17`-19` (Garrett 1990: 264)
 1. attaš=maš haršanī ^DÍD-ya mekkeš paprešker # 2. š=uš ABI LUGAL natta huišnuškēt # 3. ^mKizzuwaš=pat ANA SAG<.DU> ABI=YA ^DÍD-ya papritta # 4. š=an attaš=miš ^mKizzuwan nat<ta> hue<š>nūt¹ # “(1) Многие были признаны виновными в реке (относительно) личности моего отца. (2) Отец царя не пощадил/спас их. (3) Особенно Киццува был признан виновным в реке (= речном испытании) (относительно) личности моего отца. (4) Мой отец не пощадил его, Киццуву”².

¹ Вслед за (HED H: 334). Ср. (Garrett 1990: 264; CHD L-N: 411).

² Вслед за (CHD L-N: 245, 411; P: 106). Ср. (Garrett 1990: 264).

Данный пример функционально идентичен первому: *Kizzuwa-* в клаузе 3 был ремой, в клаузе 4 местоименная реприза маркирует изменение дискурсивного статуса – *Kizzuwa-* становится темой.

MS (CTH 789) KBo 32.13 Vs. II 30–32 1. *kišraš=ma=šši galulupēš=šēš talugaē[š]* # 2. *n=at=kan miyawēš=pat galulupēš* [ANA B]IBRI *kattanta kiantari* “(1) Пальцы её руки длинные. (2) Они, (её) четыре пальца положены/лежат под сосуд(ом) в форме животного”.

Хурритский: Vs. I 29–30 3. *fug=ugar=ī kire=tte* # 4. *tumn=adi=ne=lla huruffe=ve=ne tud=uff=a* “(3) Восемь пальцев открыты/вытянуты. (4) В (двух) группа(х) по четыре они лежали под сосудом в форме животного”.

Хотя местоименная реприза в данном примере и возникла как неточный перевод с хурритского (Sideltsev 2010), она с синхронной точки зрения функционирует как стандартная хеттская местоименная реприза. *galulupēš=šēš* “её пальцы” являются новой информацией, ремой в предыдущей первой клаузе. В клаузе 2 они функционируют как тема.

В следующем примере также происходит смена дискурсивного статуса, но она имеет несколько иной характер.

MS (CTH 443) KBo 15.10+ Vs. II 33-35 1. *nu [d]ā[ḫ]u harnikten* # 2. *nu ANA BELI ANA DAM=ŠU DUMU^{MEŠ}=ŠU āššu namma ēš[ḫ]u* # 3. *[nu=]šši^DUTU-uš^DIM-ašš=a ANA BEL[ḫ] ANA DAM DUMU^{MEŠ}=ŠU āššu TI-tar mayandatar^{Giš}TUKUL parā nēantan [na]m[m]a piškatten* # “(1) Зло уничтожьте. (2) Господину, госпоже его (и) его детям пусть далее добро будет. (3) Ему¹, господину, (его) жене (и) его сыновьям, бог

¹ Вслед за (Kassian 2000: 43). Ср. (CHD L-N: 354).

солнца и бог грозы, вновь давайте добро¹, жизнь, молодую силу, оружие, повернутое наружу”.

ANA BELI “господину” было актуализовано в клаузе 2. Таким образом, для предыдущего контекста эта именная группа выполняет функцию неустановленного топика (темы). В клаузе 3 местоименная реприза маркирует изменение его статуса к установленному топикю (теме).

1.2. Второй функцией является снятие референциальной двусмысленности.

OS (CTH 416.A) KBo 17.1+ Vs. I 3`-6` (cp. (Garrett 1990: 263))

1. [3-*l*]š LUGAL-*un* MUNUS.LUGAL-*ann*=*a huyanzi* # 2. 3-*kiš*=*a=šmaš* š[*na*]n [pā]rā ēpzi # 3. GU₄-*n*(=*a*³)=*šmaš* 3-*iš* parā ēpzi # 4. LUGAL-*uš* [3-]iš GU₄-*un* 1 šīnann=*a allappahhi* # 5. MUNUS.LUGAL-*ašš*=*a=an* 3-*iš* [a]lappahhi # 6. *partaunit*=*uš* LUGAL-*un* MUNUS.LUGAL-*ann*=*a ašāškizzi*“(1) (Они) 3 раза (к) царю и царице бегут. (2) (Он(а)) 3 раза им статуэтку протягивает. (3) Быка им 3 раза протягивает. (4) Царь 3 раза (на) быка и (на) 1 статуэтку плюет. (5) И царица (на) него/неё 3 раза плюет. (6) (Он(а)) крылом их, царя и царицу усаживает”.

В данном случае antecedent энклитического местоимения *-uš* в клаузе 6 неоднозначен – он может быть как царем и царицей, так и быком и статуэткой. Важно отметить, что данная функция представлена в одном из двух древнехеттских случаев употребления местоименной репризы (единственном тексте, написанном древнехеттским дуктом), что важно для диахронического описания развития семантики местоименной репризы.

¹ Вслед за (Kassian 2000: 43; HED M: 13). Cp. (CHD L-N: 354).

1.3. Третья функция – сопоставительная: MS (СТН 480)
KUB 29.7+ KBo 21.41 Rs. 24-29

1. nu=šši hašuwā[i]^{SAR} pianzi #

2. n=at anda puššaizzi #

3. anda=ma=kan kiššan me[mai] #

4. măn=wa ANA PA[NI] DINGIR^{LIM} kuiški EN SÍSKUR idāla-
wanni memian harzi #

5. paiddu=wa=kan edani DINGIR^{LIM}-aš parni and[a]n hurtaiš
ling[a]iš paprātarr=a hāšuwāyaš iwar kišaru #

6. nu=war=at hāšu[wāy]aš^{SAR} iwar miyān ēšdu #

7. nu=war=at=za namma iyatnuwan hāšuwāi^{SAR} [iwar puš]šuwanzi
[l]ē kuiški tarahzi # §

8. Rs. 29–30. kinun=at kāš[a mi]ēšta #

9. n=at DINGIR^{LUM LÚ}ŠE.KIN.KUD-aš mähhan miyān iyatnuwan
hāšuwāi^{SAR} [...x.] waršta #

10. namma=at anda puššāit “(1) Ей дают мыльнянку (2) (и она) её толчет/ давит (3) и одновременно говорит так: «(4) Если какой-нибудь клиент ритуала перед богом со злостью говорил, (5) пусть в том храме проклятие, ложная клятва и нечистота станут как мыльнянка. (6) Как мыльнянка пусть они будут процветающими. (7) Более того, пусть никто не сможет толочь/ давить их, как роскошную мыльнянку. (8) И вот она выросла. (9) И бог, как жнец, сжал её, [] растущую роскошную мыльнянку (10) и далее истолок/ подавил её , ...”.

В клаузе 8 референт энклитического местоимения *-at* – *hāšuwāi*^{SAR} “мыльнянка”. Интересно, что этот референт не совпадает с референтом *-at* в предыдущей клаузе 7 – там референтом является *hurtaiš ling[a]iš paprātarr=a* “проклятие, ложная клятва и нечистота”. Таким образом, между клаузами 7 и 8 происходит смена топики. Лю-

бопытно, что в данном случае анафорическая референция энклитического местоимения, в остальных случаях стандартная в хеттском, оказывается дискурсивно неудачной – производится отсылка к тому antecedentu, который референтом местоимения не является. Тем не менее, в рамках ритуала симпатической магии, каким является рассматриваемый текст, именно эта неудачная анафорическая референция имеет текстообразующую роль: соотнесение предметов реального мира и магических субстанций, ключевое для симпатической магии, в данном случае производится путем “неудачной” референциальной соотнесенности энклитического местоимения. Поэтому мы видим в данном случае особую сопоставительную функцию местоименной репризы, которая также присутствует и в выносах вправо.

Следующий пример функционально идентичен:

IMS (CTH 447.B) KBo 11.72+ Vs. II 30'–33' 1. [(*nu ANA LUGAL MUNUS.LUGAL*)] DUMU.NÍTA^{MEŠ} DUMU.MUNUS^{MEŠ} DUMU.DUMU^{MEŠ} = ŠUNU *pāi* # 2. [(*nu=šmaš* ^{LÚŠ}ŠU)].GI-*tar* MUNUS^ŠŠU.GI-*tar* *pāi* 3. *kuišš=a=ššan* UDU^{HI.A}-*aš* ŠÍG-*aš* # 4. *n=uš* LUGAL-*i* MUNUS.LUGAL=*ri talugauš* MU^{HI.A}-*uš* *pāi* # 5. *namma=at ANA LUGAL gimri tarhuilatar pāi* “(1) Дай царю (и) царице сыновей, дочерей, их внуков. (2) Дай им долголетие (букв. “мужскую старость (и) женскую старость. (3) И (как) шерсть овец, которая (на них, длинна)¹, (4) (так) дай их, долгие годы царю (и) царице. (5) Потом дай её, доблесть на поле (битвы) царю”.

¹ Вслед за (Рорко 2003: 36, 47-8).

2. Происхождение местоименной репризы

По нашему мнению, местоименная реприза развилась из более распространенного синтаксического явления хеттского языка – выносов вправо (right dislocations), которые представляют собой вынос именной группы за пределы клаузы – в постглагольную позицию, сопровождающееся употреблением коррелирующего местоимения в опорной клаузе¹, т.к: (1) две из трех функций местоименной репризы (снятие референциальной двусмысленности и коррелятивная) идентичны соответствующим функциям выносов вправо. (2) Функция сменности дискурсивного статуса спорадически развивается из функции снятия референциальной двусмысленности и у выносов вправо, как демонстрирует

NS/NH (CTH 42.A) KBo 5.3+ Vs. I 8-16² 1. nu=za zik ^mHuqqanaš ^DUTU^{ŠI}=pat AŠŠUM BELUTIM šāk # 2. DUMU=YA=ya kuin ^DUTU^{ŠI} temi # 3. kūn=wa=za hūmanza šākdu # 4. n=an=kan ištarna tekkuššami # 5. nu=za ziqq=a ^mHuqqanaš apūn šā[k] # § 6. namma=ma kuiēš ammel DUMU^{MEŠ}=YA ŠEŠ^{MEŠ}=ŠU ammel=a ŠEŠ^{MEŠ}=[YA] # 7. n=aš=za aššuli AŠŠUM ŠEŠ^{UTTIM} ù AŠŠUM ^{LÚ}TAPPU[TIM] šāk # 8. namma=ma=za damain BELAM 9. # kuiēš=aš kuiš [UN-aš] # 8a. ANA ^DUTU^{ŠI} EGIR-an arha lē kuinki šākti # 10. ^DUTU^{ŠI}-i[n=za=pat] šāk # 11. pahši=ya=an ^DUTU^{ŠI}“(1) Ты, Хуккана, признай только Мое Величество как господина. (2) И моего сына, о котором я скажу (3) “Этого каждый пусть признает” (4) (и которого) представлю, (5) ты, Хуккана, признай. § (7) Более того, дружелюбно признай относительно братства и равенства (6) тех, которые (являются) моими сыновьями – его

¹ Типологически такое происхождение универсально (Arkadiev 2010).

² Частично (без анализа) приведен в (Hoffner, Melchert 2008: 409).

братьями – и моими братьями. (8) Более того, за спиной Моего Величества никакого другого господина не признавай – (9) каким бы он человеком (ни был). (10) Моё Величество только признавай. (11) Защищай его, Мое Величество”¹.

В этом случае, который структурно относится к выносам вправо, мы видим функцию, полностью тождественную функции смены дискурсивного статуса местоименной репризы, в остальных употреблениях выносов вправо не представленную: в клаузе 10 ${}^DUTU^{St}$ “Моё Величество” функционирует как рестриктивный фокус (рема в отечественной терминологии), в клаузе 11 он становится топиком. Таким образом, данный пример служит типологической параллелью постулируемому нами в дописьменный период семантическому развитию у местоименной репризы.

Литература

1. Arkadiev 2010 – Arkadiev P., Clitic Doubling: Towards a Typology // Круглый стол «Клитики и синтаксическая типология» РГГУ, 7 июня 2010 г.
2. Beckman 1996 – Beckman G., Hittite Diplomatic Texts. / SBL WAW 7. Atlanta, 1996.
3. CHD – The Hittite Dictionary of the Oriental Institute of the University of Chicago. Ed. by H.Güterbock†, H.Hoffner, and Th.van den Hout. The Oriental Institute of the University of Chicago, 1978-.

¹ Вслед за (Beckman 1996: 23-24, CHD S₁: 29).

4. Goedegebuure 2003 – Goedegebuure P., Reference, Deixis and Focus in Hittite. The demonstratives ka- “this”, apa- “that” and asi “yon”. Diss. Amsterdam, 2003.
5. Garrett 1990 – Garrett A. J., The Syntax of Anatolian Pronominal Clitics. Ph.D. Diss., Harvard University, 1990.
6. HED – Puhvel J., Hittite Etymological Dictionary. / Trends in Linguistics. Documentation 1. Berlin – New York: Mouton de Gruyter, 1980-.
7. Hoffner, Melchert 2008 – Hoffner Jr. H., Melchert C., A Grammar of the Hittite Language. Part 1: Reference Grammar. Winona Lake, Indiana, 2008.
8. Kassian 2000 – Kassian A., Two Middle Hittite Rituals Mentioning ^fZiplantawija, Sister of the Hittite King ^mTuthaliya II/I. Moscow: Paleograph, 2000.
9. Melchert 2009 – Melchert H. Craig, Discourse Conditioned Use of Hittite -ma // E. Rieken, P. Widmer (Hrsgb.), *Pragmatische Kategorien. Form, Funktion und Diachronie*. Wiesbaden: Reichert Verlag, 2009.
10. Popko 2003 – Popko M., *Das hethitische Ritual CTH 447*. Warszawa: Agade, 2003.
11. Sideltsev 2010 – Sideltsev A., *Proleptic Pronouns in Middle Hittite* // *Babel und Bibel 4*. Ed. by L. Kogan, N. Koslova, S. Loesov, and S. Tishchenko. Eisenbrauns, Winona Lake, Indiana, 2010.

Императивная языковая норма в древнегреческом языке (история и смысл)

М. Н. СЛАВЯТИНСКАЯ (МОСКВА)

Понятие «языковая норма» (определяемое как совокупность правил выбора и употребления элементов всех уровней языка) есть понятие социолингвистическое, поскольку и само ее существование и изменения в ней диктуются не только и не столько структурными изменениями в языке, сколько сознательным (или интуитивным) отбором языковых средств как престижных. В таком случае при описании языковой нормы должен учитываться такой аспект, как языковая компетенция. Она есть итог воздействия предшествующей и синхронной социокультурной ситуации (более расширенное понимание термина, чем у его автора Н. Хомского) и напрямую соотносит с ней создателя текста и его слушателя/читателя (адресанта/адресата). Языковая норма может характеризовать отдельную личность или этнос (народ, нацию) в целом, а главное – она исторически изменчива и во многом определяет в каждый исторический период дальнейшее развитие языковой деятельности.

Отметим также, что языковая норма понимается преимущественно как признак литературного языка (чаще всего кодифицированного) и обычно изучается на материале языков Нового времени (предпочтительно в их письменной форме). Правда, в более широком плане норма трактуется как неотъемлемый атрибут языка на всех этапах его развития (см. ЛЭС). Это положение позволяет поставить проблему языковой нормы для греческого языка архаического периода (начиная с VIII в. до н. э.) и попытаться обрисовать ее контуры в протогреческий и даже в общеиндоевропейский периоды.

Последняя проблема требует серьезного и подробного анализа. Здесь же отметим лишь следующее.

Наибольшее внимание исследователей привлекает реконструкция общеиндоевропейского «сотворенного, деланного» («поэтического» совсем не в обычном понимании этого слова) языка, ритмизованные и фонетико-организованные тексты которого имели две цели: отделить форму этих текстов от обыденного языка и «заковать» признанные традиционно-обязательными лексику и словоформы. При этом степень «сотворяемости» могла быть различной: от механической до семантикозначимой. К сожалению, лингвистика не располагает термином, кроме «поэтический язык» для характеристики «поэтического» языка доисторического периода. Но в любом случае этот последний понимается как язык, передаваемый из поколения в поколение в силу традиции, которая, как известно, не есть только механическое повторение, но в той или иной мере допускает языковые изменения. Древнегреческий язык сохранил в максимальном объеме общеиндоевропейское состояние. А это, по всей видимости, было бы невозможно без существования жестких императивных текстов, не допускающих никаких изменений. В каких-то традициях это были сакральные, «закрытые» тексты жрецов. Но греческий мир никогда не знал ни жреческой, ни какой-либо иной касты, и, видимо, для него роль императивной нормы играли изречения мудрецов (и вообще так называемая «литература мудрости», оппозиция «язык богов/язык людей» и т. п.). Существование двух типов текстов, а, следовательно, и двух типов языковых норм можно предположить и для протогреческого языкового состояния.

Язык Гомера как императивная языковая норма

Культурно-историческая и языковая ситуация в эллинском мире при заселении греческими племенами Балкан, побережья Малой Азии и островов не могла не привести к ослаблению предшествующих императивных норм греческого языка и не могла не привести к появлению локальных текстов, а тем самым и к локальным языковым нормам. Если бы не поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея», их язык мог бы развиваться по совсем иным нормам. Можно привести следующую емкую характеристику гомеровского языка: «гомеровский язык – обширноеместилище словоформ и словосочетаний, разнодиалектных и разновременных (не только по происхождению, но и по несовместимости, несинхронности их с точки зрения реальной истории живой греческой речи), в иных случаях даже возникших в самом эпосе по внутренним законам его лингвистического развития. И все это сопряжено в единую систему, упорядоченную в ее семантических и ритмико-просодических противопоставлениях» (И. М. Тронский. Вопросы языкового развития в античном обществе. Л., 1973, С. 125).

Но все это языковое изобилие могло бы не стать базой языковой компетенции эллинского этноса в целом, основой языкового самосознания каждого эллина, если не на деятельность афинского тирана Писистрата (VI в. до н. э.), создавшего, согласно преданию, комиссию по редактированию гомеровского текста (он передавался в устной форме уже в течение двух веков), и предписавшего обязательное исполнение поэм Гомера на Великих Панафинейх. Тем самым в языковом сознании эллинов постепенно утвердился принцип «приятия» многообразных, разнолокальных и гетерохронных форм и богатейшей

лексики как неотъемлемого постоянного признака своего языка и своей словесности: гомеровский язык был утвержден как нормативный и стал императивной нормой древнегреческого языка на многие столетия. Гомеровский язык всегда воспринимался как некое эстетическое целое, как особая поэтическая форма языка, существующая параллельно с другими формами греческого языка и притом не в виде исторической окаменелости, а как одна из его живых форм. Именно поэтому в различные исторические периоды самые различные авторы по самым различным поводам цитируют, интерпретируют, пародируют Гомера. Доказательством жизнеспособности гомеровского эпического языка являются и факты создания по его образцу больших авторских поэтических произведений в более позднее время. Так в III в. до н. э. Аполлоний Родосский выступил с большой поэмой «Аргонавтика» (5827 стихов), которая была хорошо принята его современниками, о чем говорит многочисленность рукописей этой поэмы и подробные схолии к ней. Само появление подобного произведения было обусловлено, прежде всего, тем, что гомеровский язык оставался понятным слушающей и читающей публике, продолжая доставлять ей эстетическое наслаждение. Даже поэтический противник Аполлония Каллимах, считавший эпос, давно пройденным этапом, называл Гомера «высочайшим» поэтом.

Постепенное утверждение языка аттической прозы в качестве императивной языковой нормы

Аттический диалект, зафиксированный как норма в огромном количестве философских и исторических сочинений, при всей их значимости, в V – IV вв. до н. э. был общеизвестным, престижным, но не являлся еще императивной нормой древнегреческого языка для всего

эллинского этноса. Он становится таковым со времени раннего эллинизма (конец IV – III вв. до н. э.). Для иллюстрации высказанного положения сопоставим языковую ситуацию V – начала IV в. с языковой ситуацией более позднего времени (с конца IV в.). Сразу отметим, что западная часть греческого мира гораздо дольше сохраняла свою языковую обособленность. В западных областях греческого мира, включая южную Италию и Сицилию, для середины IV в. до н. э. и позже неоспоримо существование многочисленных диалектов, обычно условно называемых дорийскими. Так, в северо-западных и западных областях Греции около 350 г. до н. э. установлено четкое различие семи групп диалектов. (Эолийские диалекты не получили распространения, Хотя отмечается наличие этолийско-эолийского койне).

Вплоть до эпохи эллинизма мы не располагаем полными памятниками ни на одном западном диалекте или койне. Однако отдельные слова, формы, отдельные фрагменты дорийских текстов у Аристофана, Ксенофонта, Пиндара, Софрона, Эпихарма и др., многочисленные надписи, упоминания о дорийском фольклоре, например, о дорийских комических сценках, флиаках, о дорийских комедиях на мифологические темы, которые в III в. писал поэт Ринтон, существование такой мощной политической организации, как Ахейский союз, и другие факты позволяют хотя бы отчасти реконструировать функциональную парадигму языка западногреческого ареала: существование обработанных форм (язык комедий Софрона и Эпихарма, деловое койне, необходимое для ведения дел Ахейского союза), а также разговорно-обиходного языка, засвидетельствованного в глоссах, в схолиях к Феокриту, в надписях. С III в. до н. э. новая языковая ситуация характеризовала только наиболее развитые части греческого мира (Аттику и Ионию), а затем и территории, завоеванные Александром Македон-

ским, что еще резче противопоставило по типу языковых вариантов восточную (включая Египет) греческую зону и западную, где и в III в. до н. э. продолжали употребляться традиционные греческие диалекты в традиционных функциях. Он окончательно оформляется и отделяется от ионийского только в течение V в. до н. э., что было связано с культурным возвышением Афин и тем самым с ростом престижности территориального диалекта этого полиса. Направление развития именно аттического диалекта и будет определять судьбу греческого языка в ближайшие века. Одной из характернейших черт аттического диалекта в указанный период является сосуществование двух гетерохронных вариантов: в конце IV в. до н. э. в Аттике господствует новая форма аттического диалекта (новоаттический диалект) при употребительности и староаттических форм, поскольку самостоятельное существование новоаттического диалекта насчитывает менее столетия.

А. Языковая ситуация в Восточном Средиземноморье в V-IV вв.

В классический период в восточной и южной части Средиземноморья господствует ионийский диалект, наиболее поливалентная форма древнегреческого языка. Ионийская проза, предшественница аттической, продолжала существовать и в IV в. до н. э., свидетельством чего является язык Демокрита. Ионийский поэтический язык ямбов и элегий, сложившийся в VII-VI вв. до н. э., был популярен на протяжении всего развития греческой литературы вплоть до Византии. Ионийский наддиалект (его часто называют ионийское койне) использовался в качестве языка интеллигенции и в неионийских областях, что подтверждает, например, язык Гиппократ, знаменитейшего врача древности, жившего около 460-377 гг. до н. э., жителя дорийского острова Кос.

В IV в. до н. э. отмечается усиление влияния ионийских диалектов, изначальная близость которых к аттическому всегда отчетливо ощущалась древними (см., например, Страбон «География», 8,»), В историческое время общность экономических и политических интересов (связь с причерноморскими колониями, общин торговые пути, объединение в Афинской архее и др.), культурное влияние Ионии (ее науки и литературы) на Аттику при всех сепаратистских тенденциях греческих полисов всегда способствовали интерференции указанных диалектов. Это дало основание называть аттический диалект данного периода либо «великоаттическим», либо «ионийско-аттическим» койне. Влияние ионийского наречия выразилось в большом количестве ионийской лексики, в трактовке некоторых фонетических явлений, в распространении некоторых словообразовательных и активизации отдельных морфологических моделей.

Ионийское наречие существовало в то время в виде группы территориальных диалектов, которые сохраняются вплоть до первых веков н. э. Но вполне естественно, что в связи с возвышением Афин в V в. до н. э. ионийские диалекты в свою очередь стали испытывать сильнейшее влияние аттического (напомним, например, об отдельных аттических элементах в языке Демокрита, 460 – 370 гг. до н. э.). К концу IV в. до н. э. в восточных областях греческого мира сложилась такая языковая ситуация, когда приоритет аттического (уже несколько «ионизированного») или ионийского (уже несколько «аттицизированного») должен был определиться внешними факторами, каковыми и были социально-экономические условия и политические события конца IV в. до н. э. Таким образом, аттический диалект еще в IV в. до н. э. не был господствующим идиомом греческого языка.

Б. Языковая ситуация в Восточном Средиземноморье с конца IV в. до н. э.

В указанный период начинается укрепление позиций аттического диалекта и превращения его в императивную форму греческого языка лишь с III в. до н. э.

К концу IV в. до н. э. наблюдается резкое усиление влияния экстралингвистических факторов на развитие греческого языка. Подчинение греческих полисов диктату Македонии, завоевания Александра Македонского и последующее образование государств диадохов способствовали тому, что греческий язык в самых различных диалектных формах был вынесен далеко за пределы грекоязычных областей. Результатом языковой политики Филиппа и Александра, а затем и диадохов явилось использование обработанной формы аттического диалекта при македонском дворе и в войске. А также во вновь созданных очагах греческой культуры в иноязычных областях. Афины, вплоть до середины III в. до н. э. оставались культурным центром греческого мира. И для III, и даже для II в. до н. э. характерно стремление к сохранению всех примарных признаков аттического диалекта. Именно поэтому при характеристике языка даже такого яркого представителя эллинистического «литературного койне» (по терминологии А. Тумба), как Полибий, речь, в основном, идет о характеристике его лексики и синтаксиса.

Лишь во второй половине III в. до н. э. с переносом центра греческой культуры в Александрию, создаются условия для расшатывания аттической литературной нормы, поскольку в Александрии работают ученые, писатели и поэты из самых разных областей греческого мира, что приводит к проникновению в литературный язык форм из

других диалектов. Примером этого может служить язык Архимеда, уроженца дорийской Сицилии. Его язык – это аттический литературный язык. Встречаются в языке Архимеда и те формы ионийского диалекта, которые давно вошли в аттический (например, τέσσαρες наряду с τέτταρες «четыре»). Вместе с тем текст сохранил и наличие форм родного Архимеду дорийского диалекта: частица κα наряду с αν, μήκος и μήκος «длина», ἥλιος и ἥλιος «солнце» и др.). Но наличие этих форм не нарушает аттической целостности языка Архимеда. Отражение в нем отдельных черт родного диалекта не противоречило особенностям развития греческого литературного языка, находившегося всегда под большим воздействием разговорных форм, что отражало отсутствие строгих границ между письменным и устным языком в античном мире. Таким образом, утверждение норм аттического диалекта в качестве императивных было реакцией на социально-культурную ситуацию раннего эллинизма и позже. Это положение можно подтвердить сравнением языка в апоikiaх и на иноязычных территориях до III в. (а) и позже (б).

а) В колониях в это время сохраняются классические греческие диалекты метрополий, а на иноязычных территориях мы находим самые различные типы смешения диалектов и самую различную степень влияния аттического диалекта, что связано с культурным и этническим статусом того или иного поселения.

б) Аттический поливалентный диалект в его различных исторических и функционально-стилистических вариантах вошел в систему форм греческого языка во всех инодиалектных областях восточной части греческого мира, вытесняя греческие местные диалекты на всех функциональных уровнях (немного позже такое же явление будет наблюдаться и на западе и в колониях). Тем самым он превратился в

наддиалектную форму греческого языка. Высшая страта аттического диалекта стала средством общения в высших сферах коммуникации во всех иноязычных областях эллинистического мира.

Функционирование в эллинистических государствах обработанной формы аттического диалекта в качестве языка литературной прозы и в качестве делового языка создало в инодиалектных областях совершенно новую лингвистическую ситуацию: местные диалекты, хотя и продолжали существовать вплоть до первых веков новой эры, постепенно уступали свои позиции аттическому диалекту в этих функциях. Исследователи обычно приводят данные А. Дебруннера и А. Шерера о том, что материалы надписей свидетельствуют о почти полном исчезновении в III в. до н. э. ионийского диалекта: если в V в. до н. э. на этом диалекте засвидетельствовано 55% надписей, то в III в. до н. э. их было всего 6%. Известно, однако, что надписи имеют, в основном, официальный характер и составляются обычно на том варианте языка, который функционирует в качестве делового, а потому реальная «доля» ионийского диалекта была в III в. до н. э., конечно же, более весомой.

Многообразные типы койне

как антипод императивным языковым нормам

Общеизвестно, что при наличии локальных вариантов в любом языке непременно существуют разного рода койне. В противном случае носители языка перестают понимать друг друга, и единый язык распадается на два или несколько языков. В древнегреческом языке также всегда существовали более или менее обработанные формы локальных койне, поскольку различные военные, политические и религиозные причины с давних пор диктовали необходимость объединения

сначала племен, затем полисов во временные союзы на самых различных основаниях. Именно поэтому А. Мейе относил начало образования общегреческого койне еще к VII в. до н.э., когда греческие полисы должны были объединяться в военный союз для отражения персов, хотя можно предположить и гораздо более раннее появление такой формы существования греческого языка (напомним, например, о Троянской войне) мало того, даже стабильные идиомы древнегреческого языка могли одновременно иметь не только функцию, но и форму койне. Так, самой примечательной особенностью аттического диалекта IV в. до н. э., и притом имеющей прямое отношение к его функциональному плану, является «размываемость» его границ. Аттический диалект, особенно в Афинах, которые были политическим и культурным центром Эллады, не мог не испытывать влияния других диалектов и окружающих языков, что и позволило автору псевдоксенофоновой «Афинской политики» назвать аттический диалект «смешанным языком».

Что касается раннего эллинизма и позже, то именно формирование общегреческого койне считается характерной чертой греческого языка этого периода (см. лингвистические словари Ж. Марузо, О.С. Ахмановой, Лингвистический энциклопедический словарь). В это время резко изменилась социально-культурная ситуация в греческом мире. Для восточного ареала наиболее характерной чертой является распространение греческого языка в результате политики Птолемеев на территории Египта, где сосредоточились самые разные этнические группы, для которых использование одного языка в качестве средства общения было насущной необходимостью. Этническая пестрота населения, главным образом, в растущей Александрии, явилась причиной сравнительно незначительного влияния на греческий язык субстрат-

ных явлений. В сущности, именно язык греческого населения Египта и дает основной материал для переосмысливания состояния греческого языка в эпоху эллинизма, когда с конца IV в. до н. э. новые исторические условия потребовали вовлечения в государственный и культурный аппарат огромного числа людей, недостаточно хорошо владеющих литературной нормой. Это послужило причиной гораздо более активного, чем прежде, проникновения разговорного языка в язык высших сфер коммуникации, но в целом на первых порах несколько не поколебало аттическую основу литературного (в широком смысле) языка, в чем исследователи единодушны.

Памятники III в. до н. э. дают нам представление и о разговорно-обиходном языке (разумеется, в его письменной фиксации). В этом варианте греческого языка отразились нестабильность языковых отношений на территории эллинистических государств. В связи с совершенно новыми условиями существования греческих полисов и новой стадией развития рабовладельческого общества, в связи с большой ролью письменности, в связи с этническим смешением естественна бо́льшая вариативность разговорного греческого языка. Основные тенденции его развития складывались давно и не представляли какого-то нового явления. Что касается форм языка в низших сферах коммуникации, то там всегда существовали различные типы обиходной речи, являющейся результатом смешения территориальных диалектов. В рассматриваемый период количество вариантов этой функциональной страты еще более увеличилось в связи с конкретными социально-историческими условиями (усиление интерференции диалектов, влияние в данном регионе литературного языка, особенности и влияние речи социальных низов – рабов, разорившихся граждан и т. п.). Именно для этой страты представляется целесообразным употреблять термин «койне».

Таким образом, суть структурных процессов в многообразных вариантах эллинистического койне не меняется. Изменяется лишь количество этих вариантов и появление письменной фиксации этих вариантов.

Итак, со времени эллинизма специфической особенностью древнегреческого языка стало окончательное утверждение двух императивных «сверх-норм» – гомеровского языка в поэзии (при наличии многообразных жанровых суб-норм), и языка аттической прозы (также при наличии вариантов). Обработанная в престижных текстах философской и исторической прозы форма аттического диалекта вошла в языковое сознание и самосознание эллинов в качестве постоянного, объединяющего всех носителей греческого языка нормативного идиома. Этот идиом закрепился в греческом языке в результате всей социально-культурной ситуации и в результате языковой политики Александра Македонского и диадохов.

Две нормы, пережившие тысячелетия, сформировали греческое языковое сознание и самосознание. Гомеровский язык, создавший единую многомерную парадигму из гетерохронных и гетеролокальных форм, сделал таким же многомерным и языковое сознание эллина, принимавшее как естественную любую вариативность.

Аттическая норма укрепляла грамматическую форму языка и способствовала сохранению стабильного состава греческой лексики. В греческом языке мы наблюдаем особый тип развития языковой нормы: не смена одной языковой нормы другой, а сохранение двух постоянных «сверх-норм» при наличии разнолокальных и разножанровых «суб-норм».

Ненормированной формой греческого языка всегда были разного рода койне, расшатывавшие грамматические и лексические нормы, что и привело постепенно к образованию новогреческого языка.

О месте идеографии в типологии письма

В. СТАНИШИЧ (БЕЛГРАД)

Письмо и язык – это две совпадающие знаковые системы. Одной из самых значительных характеристик, их объединяющих, является известная „двухсторонняя артикуляция“, которую в языковой системе дефинировал А. Мартинэ. Подобно тому, как язык представляет собой отношение между звуком и мышлением, фонетикой и семантикой, такое же отношение находим и в письме, чье типологическая классификация покоится именно на разделении между звуковым и понятийным письмами. Однако, в отличие от языка, в науке о письме эти два плана традиционно противопоставлены друг другу, так что отдельные письма помещаются либо в один, либо в другой план. Причиной этого является известная амбивалентность самого письма, которое в равной мере зависит и от языковых и от культурноисторических обстоятельств. При этом, такое разделение имеет и эволюционную дименсию, если иметь в виду, что древнейшие письменности мира были понятийными, в то время как сегодня единственным таким письмом осталось китайское, которое этим противопоставляется всем остальным современным письмам. Данный факт как будто указывает на постепенное согласование между графическим и звуковым планами. Иными словами, что письмо сперва появилось как культурноисторический феномен, а со временем стало усовершенным средством человеческого общения, которое компенсирует ограниченности языка во времени и пространстве.

Противопоставленность этих двух планов поощрила дискуссии о природе связи между письмом и языком. Все согласны по поводу того, что письмо является системой визуального (графического) общения, но расходятся в понимании способа его функционирования. Мнения,

ния исследователей расходятся по поводу того является ли понятийное письмо равноценным средством графической коммуникации. Отсюда происходят и крупные различия в именовании и дефинировании этого типа письма, которое частично или в целом помещается в предписьменность.

Это иерархическое отождествление звукового письма с «подлинным письмом» (англ. *sound writing – full / real writing*) и помещение понятийного и даже словесного письма в предписьменность (англ. *thought writing, logography – proto-writing*), покоится на понимании письма как технического средства подчиненного языку, которое ему постоянно приспосабливается в своем развитии. В основе так понимаемого телеологического развития письма находится принцип экономии как естественный закон, как “стремление выразить язык как можно эффективнее при помощи как можно меньшего числа знаков”. Так понимаемые этапы развития письма представляют собой постепенную смену минимальных единиц, которые должны быть запомнены: 1) текст, 2) слово, 3) слог, 4) фонема. От нерасчлененного рисунка, который вначале не должен иметь ни текстуальной языковой организации, до усовершенной алфавитной системы, в которой осуществлен самый полный паралелизм между звуком и знаком. Идеологические импликации так понимаемого развития письма, прежде всего европоцентрический тезис об алфавите как самом совершенном типе письма и нужности такого эволюционного преобразования, со временем потерпели оправданную критику. Все же, неоспоримым остается факт, что типология письма и эволюция письма глобально параллельные, т.е. эволюция письма имеет в принципе однонаправленное развитие и что конвенционализация письма – удаление от рисунка вместе с договор-

ным получением чисто языковых качеств – является существенной особенностью его эволюции.

В этом смысле, традиционно проводится различие между двумя типами рисуночного письма. Первое из них – *пиктография* или буквально рисуночное письмо, характерное, прежде всего для народов на племенной степени развития, которое, как правило, можно понять на любом языке, а второе – это рисуночные письменности древнейших цивилизаций (называемые в литературе по разному: то *идеографией*, то *логографией*, то *иероглификой*), за которыми осталось огромное книжное наследие. Корни такого разделения можно проследить еще до французских просветителей, очарованных идеей прогресса в развитии человеческого познания. Об этом, например, свидетельствует идеологизированное разделение на „три способа писания” Жан-Жака Русо, которые отвечают тремя периодами в развитии человеческого общества. Среди них можно разузнать именно современную точку зрения о том, что на самой низкой степени развития находится буквальное рисование объектов и что они постепенно конвенционализируются, вплоть до алфавита, который является окончательной степенью такого развития. Что подразумевается под этой конвенционализацией, до какой меры меняется отношение между обликом и содержанием первобытного рисунка и до какой меры это разделение вообще изменилось от русоовского времени? На такие вопросы автор пытается найти ответ в данном тексте.

Языковая ситуация в древнем Риме и латинский словарь (диахрония ретроспектива)

М. А. ТАРИВЕРДИЕВА (МОСКВА)

Языковая ситуация в Древнем Риме на протяжении всех веков его существования характеризовалась многоязычием, обусловленным как географическим положением Римского государства (центр Средиземноморья), так и его внешней политикой (покорение соседних народов или культурные связи с ними). Длительное проживание в близком соседстве и регулярное общение с неизбежностью приводили к интерференции языков и, как результат, к проникновению в латинский язык и фиксации в нем новых языковых элементов.

Ситуации сосуществования и взаимовлияния языков составляют объект социолингвистических исследований. Одним из наиболее активно используемых методов получения материала для изучения является работа с носителями этих языков – билингвами. При исследовании древних языков использование данного метода по понятным причинам исключается. Однако это обстоятельство не означает принципиальной невозможности изучения ситуаций многоязычия в древности. В случае с латинским языком основным объектом изучения является сам латинский язык в его письменной репрезентации. В дополнение к языковому материалу используются, в качестве исторического и культурологического источника, сочинения античных историков и исследования историков современных, дополняемые сведениями, полученными из близких областей гуманитарных наук – исторической географии, археологии, палеографии, эпиграфики.

Ограничение информационного ресурса рамками письменных источников в определенной мере сокращает возможности получения

искомой информации. В то же время такое ограничение является гарантом от проникновения в материал исследования единичных языковых фактов, не укоренившихся в языке-реципиенте, не вошедших в его систему.

Насколько можно судить по дошедшим до нас письменным свидетельствам, удельный вес заимствований в латинском языке, относящихся к разным языковым уровням, неодинаков. Минимальное число заимствований относится к грамматическому уровню (к тому же нередко факт заимствования оказывается спорным – например, дискуссионным является вопрос о природе аналитического перфекта с использованием глагола *habere*). Практическое отсутствие грамматических заимствований, по-видимому, объясняется развитостью и стабильностью грамматической системы латинского языка, ее устойчивостью к иноязычным влияниям.

При работе с письменными источниками трудноопределимы фонетические заимствования, выявить которые можно лишь в случае их отражения в латинской орфографии. Следы фонетических заимствований обнаруживаются в письменной латинской традиции по двум способам передачи звуков, отсутствующих в латинском языке: приближительной записи путем использования букв латинского алфавита, передающих относительно близкие к заимствованным звуки (лат. *pirriga* – ср. греч. *πυρίργα*) или использование с той же целью сочетаний букв, не встречающихся в записи исконно латинских слов (*rhythmus*, *pharmacus*, *schola*).

Наиболее наглядный материал, формирующий представление о мотивации внедрения в структуру латинского языка элементов языков других народов, дают заимствования в области лексики.

Этот слой заимствований неоднороден: содержательное наполнение заимствований варьируется в зависимости от социальных характеристик народа-носителя того или иного языка.

Заимствования из языков народов, уступающих римлянам в социальном развитии (народы Итальянского (Апеннинского) полуострова, кельты (галлы), иберы, позднее – германцы), обычно отображали различные детали повседневной жизни этих народов, ранее неизвестные римлянам: названия предметов сельского быта, флоры и фауны, географические названия – при общении с италиками, галлами, иберами; военная терминология – от германцев. Заимствованные слова вошли составной частью в соответствующие семантические группы (поля) в латинском словаре, однако не внесли качественных изменений в его структуру. По мере устранения обозначаемых этими словами реалий из практической картины мира римлян эти слова бесследно исчезали из латинского лексикона.

Контакты с греками значительно расширили диапазон духовной жизни римлян, результатом чего явилось внедрение в латинский язык большого числа слов, объединенных в новые семантические поля, ранее отсутствующие в латинском словаре (театр, философия, христианская религия и др.). Эти заимствования качественно обогатили латинскую языковую картину мира и заняли в ней прочное место (а впоследствии перешли и в лексиконы формирующихся на европейском языковом пространстве новых языков). Аналогичное (хотя и в меньшем масштабе) качественное обогащение словаря латинского языка произошло в Средние века, благодаря заимствованию научной лексики арабского происхождения в результате осуществления переводов научных сочинений с арабского на греческий и латинский языки.

Рассмотренные языковые процессы обретают адекватную аналитическую интерпретацию при использовании современных методик исследования языка с позиций когнитивной лингвистики и лингвокультурологии, в опоре на ключевое понятие этих научных направлений – концепт.

Благодаря кумулятивной функции языка в нем отражается, хранится и передается коллективный опыт народа-носителя этого языка, его мировидение. Концепты – содержательные ментальные образования, фиксирующие своеобразие культуры народа в определенную эпоху и получающие отображение в языковой картине мира этого народа.

Знакомство с культурой других народов изменяет существующую в сознании людей картину мира, привносит в нее новые детали, образы, понятия, влечет за собой формирование соответствующих концептов. Наиболее краткий путь к отображению этих понятий в языке – заимствование их обозначений из языка народа-носителя данной культуры. При восприятии отдельных конкретных реалий материального мира, не ведущем к формированию новых концептов, их заимствованные лексические обозначения не изменяют структуры языковой картины мира, в которую они вносятся, поскольку не изменяется ее концептуальное наполнение. При восприятии явлений духовной культуры в коллективном сознании социума-реципиента происходит формирование новых концептов. Лексика, заимствованная для их комплексного воплощения, включается в язык-реципиент в виде структурированных семантических полей, качественно обогащающих лексический тезаурус данного языка и обретающих в нем надежную собственную нишу.

Проблема *s-mobile* в индоевропейских языках и ее возможное фонетическое объяснение

А. А. ТРОФИМОВ (МОСКВА)

Индоевропеистике давно известен тот факт, что в праязыке существовал ряд корней, которые в одних случаях начинаются сочетанием *s-* с определенным согласным, в других случаях начальный *s-* в словах с этим же корнем отсутствует. Подобное чередование может иметь место как в одном языке (греч. σῶψ «сова» : ῥῶψ «филин, сын», греч. σῆψ «фиговый червец, тля» : ῥῆψ «древоточец», др.-рус. *скора* «шкура» : праслав. **kora* «кора»), так и в различных индоевропейских языках (греч. κείρω «рубить» : др.-исл. *skera* «резать»). При этом *s-mobile* «не допускает предсказуемости ни в одном индоевропейском языке» [Макаев 1970, 243], а распределение вариантов корня с *s-mobile* и без него не позволяет выявить четкой закономерности. Именно это обстоятельство привело большинство ученых к выводу, что «феномен *s-mobile* не относится к фонемному или просодическому уровню (ибо фонемы и просодемы, во всяком случае, в определенных границах, допускают предсказуемость) и, следовательно, на него не могут распространяться правила действия, присущие фонетическим законам» [Макаев 1970, 243-244].

В связи с этим предлагались различные теории возникновения *s-mobile* нефонетического характера. По мнению одних ученых, *s-mobile* – префикс (или преформант) с затертым значением [Colinet 1892; Siebs 1901, 292; Макаев 1970, 217-253], по мнению других (в особенности санскритологов) – результат действия сандхи типа *s + s + согл. > s + согл.* [Wackernagel 1896, 267; Барроу 1976, 78-79; Edgerton 1958, 445-453]; предлагались гипотезы о связи *s-mobile* с ларингалами и греческой протезой [Schrijen 1906, 487-489; Клычков 1959, 27-28; 1959,

83; Никитина 1962, 81-86], о нарушении морфологических границ между словами [Shields 1996, 251-253]. Ни одна из подобных гипотез не является полностью удовлетворительной: так, существование префиксов в праязыке до сих пор стоит под сомнением, предположение о сандхи является проецированием древнеиндийского языкового состояния на праязык, а остальные гипотезы не могут полностью объяснить все факты.

Основным доказательством несостоятельности подобных теорий служат, однако, не соображения относительно их слабой морфологической или семантической обоснованности. Если рассмотреть рефлекс сочетаний $(s)K$ (K – любой заднеязычный) на фоне рефлексов сочетания sK , обнаружится следующая ситуация. А. Лубоцким, а также М. Свенссоном установлено, что в индоиранских и славянских языках разницы между сочетанием $*sk$ и $*s\hat{k}$ не существовало [Lubotsky 2001, 25-57; Svensson 2009, 5-24]. Единственными языками, где это противопоставление могло существовать, по мнению М. Свенссона, остаются лувийский и ликийский, итеративные глаголы в которых имеют суффиксы соответственно $-(z)za-$ и $-s-$ < и.-е. $*-s\hat{k}e/o-$ [Svensson 2009, 12], а такой же рефлекс в лувийском имеет индоевропейский звук $*\hat{k}$ (лув. $z\bar{a}rza-$ < и.-е. $*\hat{k}r\bar{d}-s$ [Melchert 1994, 243], хотя возможна реконструкция $*\hat{k}erd-s$). Однако в лувийском неизвестен точный рефлекс $*sk$, и нельзя исключить возможности «палатализующего окружения» в последовательности $*-ske-$ [Woodhouse 1998, 57]. (Это же относится к ликийскому суффиксу $-s-$). В конце концов, z может в реальности обозначать одновременно две разные аффрикаты. Также В. Орел противопоставляет албанские рефлексy $*sk$ и $*s\hat{k}$ в медиальной позиции, однако преобразование суффикса $*-s\hat{k}e/o-$ > h связывается не с особым развитием палатального $*\hat{k}$, а со случайной метатезой $*sk$ > $*ks$, что не дает нам

основания утверждать палатальный характер *k* в составе данного суффикса [Orel 2000, 99-100]. Поскольку достоверные примеры, доказывающие, что суффикс **-ske/o-* выглядел именно как **-sk̑e/o-*, отсутствуют, не остается ничего другого, как утверждать, что в праязыке после **s-* гуттуральные не различаются по качеству.

Это означает, что *s-mobile* при присоединении к начальным гуттуральным должен делать начальный лабиовелярный или палатальный звук чистым велярным, а параллельные формы в таком случае не меняли бы своей изначальной природы. Но, как известно, это не так. После *s-mobile*, как и после любого начального **s-*, встречаются исключительно формы с чистыми велярными. (На лабиовелярные и палатальные в словаре Ю. Покорного приведены немногочисленные и сомнительные этимологии: например, см. корень [IEW 1959, 958]). Подобные данные заставляют прийти к выводу, что начальное сочетание в случае с *s-mobile* является исходным, в то время как формы без *s-* получились именно путем отпадения начального **s-*.

В таком случае остается вопрос о нерегулярности явления *s-mobile* в праязыке. Как можно объяснить тот факт, что в индоевропейских языках распространены стабильные корни с анлаутом типа *sC-*?

Хотелось бы обратить внимание на возможность фонетического объяснения данного явления, правда, не носящего характера фонетического закона. На самом деле науке известны случаи непредсказуемых этимологических дублетов на материале, например, славянских языков. Так, в этих языках встречаются относительно многочисленные необязательные чередования типа *sk-* (*sk̑-*) : *x-*, например церк.-слав *скрипати* : рус. *хрипеть* (далее [Rejzek 1998, 234-240]). Безусловно, в большинстве своем это звукоподражательные слова. Этот процесс находит свое объяснение в том свойстве фонологической системы

языка, что любой новой фонеме требуется окончательно занять свое место в системе, и тогда эта фонема начинает включаться в образование различных периферийных лексем: прежде всего звукоподражаний и заимствований. В частности, благодаря подобным словам в славянских диалектах утверждалась появившаяся в определенных фонетических условиях фонема /x/. Отсюда и такие слова, как *хахаль*, *хорохориться* и *хохотать* (думается, невозможно всерьез связывать последнее слово с греческим *χαῖῶς*). Позже подобным образом в русском языке благодаря появлению новой фонемы /f/ сформировался целый ряд слов типа *фуфло*, *фифа*, *расфуфыриться*, *фуфайка*.

По видимости, подобные же процессы привели в свое время в индоевропейском праязыке к появлению дублетов типа *sC* : *C*, где *C* – согласный звук. На более ранних этапах отпадение начального *s*- в периферийных слоях лексики (*s-mobile* часто встречается в звукоподражаниях и редких глаголах) помогало подчеркнуть характер чистых веллярных (в последнее время ряд ученых не без основания возвращается к старой двухрядной реконструкции гуттуральных, предложенной еще Мейе [Мейе 2007, 117-120; Woodhouse 1998, 40-58; Lubotsky 2001, 26-27]). Также оно способствовало появлению новых слов, начинающихся на *г*, *л*, а большинство слов на *г* и *л* начинались с ларингала. Так что процесс образования *s-mobile* должен следовать за падением ларингалов. Что же касается комплексов **(s)p* и **(s)t*, то их преобразование в таком случае следует признать аналогическим. На более поздних этапах произошли многочисленные выравнивания, в отдельных диалектах (как, например, в германских и в балтийских) *s-mobile* стало распространенным явлением, а в некоторых диалектах, напротив, в связи с их особенностями, сузило сферу своего бытования (как, например, в латыни).

Литература

1. Барроу 1976 – Барроу Т. Санскрит. Пер. с англ. М., 1976
2. Клычков 1959 – Клычков Г. С. Индоевропейское *s* и некоторые вопросы ларингальной теории // Проблемы развития в языке. М., 1959
3. Никитина 1961 – Никитина Ф. А. Протетические гласные древнегреческого языка как рефлексy индоевропейских щелевых // Вопросы языкознания, 1962. №1, с. 81-86
4. Макаев 1970 – Макаев Э. А. Структура слова в индоевропейских и германских языках. М., 1970
5. Мейе 2007 – Мейе А. Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков, 4-е изд. М., 2007
6. Colinet 1892 – Colinet Ph. Essai sur la formation de quelques groupes de racines indoeuropéennes. I. Les préformantes proto-aryennes. Gent–Leipzig–Löwen, 1892
7. Edgerton 1958 – Edgerton F. Indo-European *s*-movable // Language 34, 4, 1958, pp. 445-453
8. Lubotsky 2001 – Lubotsky A. Reflexes of Proto-Indo-European **sk* in Indo-Iranian // Incontri linguistici 24, 2001, pp. 25-57
9. Melchert 1994 – Melchert H. C. Anatolian historical phonology. Amsterdam–Atlanta, 1994
10. IEW 1965 – Pokorny J. Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. Bd. 2. Bern- München, 1965
11. Orel 2000 – Orel V. A concise historical grammar of the Albanian language: reconstruction of Proto-Albanian. Leiden–Boston–Köln, 2000

12. Rejzek 1998 – Reizek J. Initial sk-(šk-)/ ch- Doublets in the Slavonic Languages // *The Slavonic and East European Review*, 76, 3, 1998, pp.134-140
13. Siebs 1901 – Siebs Th. Anlautstudien // *Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung*. 37, 3, 1901, ss. 277-324
14. Svensson 2009 – Svensson M. V. Indo-European *s^hk- in Balto-Slavic // *Baltistica XLIV* (1), 2009, pp. 5-24
15. Wackernagel 1896 – Wackernagel J. *Altindische Grammatik. I. Lautlehre*. Göttingen, 1896
16. Woodhouse 1998 – Woodhouse R. On PIE. tectals // *Indogermanische Forschungen*. 103, 1998, ss. 40-60.

Сравнительно-исторический анализ бытовой лексики иранских языков Южного Кавказа

А. А. УМНЯШКИН (БАКУ)

В настоящее время в сравнительно-историческом языкознании, и в частности в индоевропеистике, несомненной стала тенденция к все более активному использованию в компаративных исследованиях материала живых языков. Все большее число исследователей признает, что невнимание к такому материалу может воспрепятствовать решению старых и породить новые трудноразрешимые или даже неразрешимые проблемы. Так, есть основания полагать, что реконструкция общеиндоевропейского состояния исключительно на основании данных древних языков в настоящее время находится на стадии завершения. Иными словами, количество индоевропейских корневых и грамматических морфем, восстановление которых возможно при сравнении только таких индоевропейских языков, как хеттский, древнеиндийский, греческий, латынь, древнеирландский, готский, старославянский, по-видимому, уже приближается к своему максимуму. Надежды на сколько-нибудь значительное увеличение набора реконструированного материала можно связывать только с привлечением для сравнительного анализа языков, ранее остававшихся без должного внимания исследователей, особенно бытовой лексики, как наиболее архаичного пласта языкового материала. Среди таких языков немалую долю составляют языки, не имеющие многовековой письменной традиции либо являющиеся вовсе бесписьменными или младописьменными, такие как иранские языки Южного Кавказа – талышский, татский, курдский. Невысокий уровень изученности в сравнительно-историческом аспекте многих из них следует считать ос-

новой причиной сохранения своеобразных «белых пятен» в компаративистике вообще и, в индоевропеистике, в частности.

В индоевропеистических исследованиях прошлого чаще всего рассматривался только материал древних языков этой «ветви» – древнеиндийского, авестийского и древнеперсидского. Среднеиндийские и среднеиранские данные привлекались для анализа весьма редко, современные же языки почти полностью оставались вне поля зрения исследователей. Такой уровень изученности арийской языковой общности в сравнительно-историческом аспекте, вне всякого сомнения, нельзя считать адекватным.

Начавшееся в относительно недавнее время исследование живых арийских языков, включая и бесписьменные (по числу последних арийская «ветвь», несомненно, опережает все остальные генетические подразделения индоевропейских языков), уже успело дать весьма значимые результаты, сделавшие необходимым пересмотр некоторых традиционных представлений об общеарийском состоянии и его отношении к праиндоевропейскому. Достаточно упомянуть, например, открытие аффрикатных рефлексов индоевропейских глухих палатальных (или глухих палатализованных гуттуральных) в нуристанских языках, которое заставило индоевропеистов по-новому взглянуть на проблему языков *centum* и *satem*.

Древние иранские языки (авестийский и древнеперсидский) отличались ярко выраженным синтетическим строем с развитой системой флексивных форм склонения имен и спряжения глагола. Имена существительные, прилагательные и местоимения изменялись в них по 8 падежам, по числам (единственное, двойственное, множественное число), имелась категория рода (мужской, женский и средний род).

В системе глагола противопоставлялись два залога – активный и медиальный, отличавшиеся друг от друга типом личных окончаний.

Последующая история развития морфологической системы характеризуется постепенным распадом флексии и постепенной сменой синтетического строя аналитическим. Почти все современные иранские языки принадлежат к числу языков аналитического строя. Категория рода в таджикском, татском, белуджском, талышском, гиланском, мазандеранском языках полностью утеряна. В курдском языке она сохранилась в пережиточном виде и обнаруживается главным образом в характере изафетного показателя, частично в типах склонения имен и в косвенном падеже указательных местоимений и тождественных с ними личных местоимений 3-го лица.

На месте древней восьмипадежной системы склонения в большинстве современных иранских языков осталось два-три падежа: в курдском – прямой, косвенный и пережитки звательного, в татском языке – прямой и косвенный, в талышском – прямой и косвенный, в белуджском – основной, посессивный и объектный.

С точки зрения характера глагольной системы все современные иранские языки можно разделить на два типа: 1) языки, в которых переходным глаголам в прошедших временах свойственна так называемая эргативная, или мнимо-пассивная, конструкция, 2) языки, в которых такая конструкция отсутствует. Из числа иранских языков на территории бывшего Советского Союза к первой категории относятся: курдский, талышский, диалекты шугнано-рушанской языковой группы, язгулямский, ваханский; ко второй группе относятся: таджикский, татский, осетинский.

Характерной особенностью синтаксиса ряда иранских языков является наличие изафетной конструкции. Под этим термином в иран-

ских языках подразумевается особый тип атрибутивных сочетаний, при которых на первом месте ставится определяемое имя, принимающее особый так называемый изафетный показатель, на втором месте определение (любого типа – качественное или по принадлежности), например: тадж. хонá-i kalon 'большой дом', хонá-i radár 'дом отца' и т.п. Изафетная конструкция свойственна персидскому, таджикскому, курдскому языкам. Отсутствует изафетная конструкция в белуджском, талышском, осетинском и почти по всех памирских языкам.

При всем различии словарного состава современных иранских языков в них можно проследить унаследованный от древности общий лексический фонд, большая часть которого охватывает бытовую терминологию:

1) в существительных, например:

'отец' – др.-перс. pita(r), перс. pedār, тадж. padar, шуги. pīd, руш. pi(d), осет. fæd, белудж. piš, гил. per, мазанд. per, тал. pīa, афг. plar;

'мать' – др.-перс. māta(r), перс. mādār, тадж. modar, руш. mōd, осет. mad, афг. toḡ;

'брат' – др.-перс. brāta(r), перс. beradār, тадж. barodar, татск. birār, тал. bo, курд. bərd, белудж. brās, афг. vror, гил. bərar, барт. virō(d), руш., хуфск. v(i)rōd, шугн. v(i)ro(d), яги. vlrot;

'женщина', 'жена' – авест. jēni/jaini, перс. zān, тадж. зан, мазанд. zan, курд. žəp, белудж. jnēn/jinak, шугн. yin/yinik, руш. jan/janak, барт. jan, janik;

'дверь'—др.-перс. duvara, перс. dār, тадж. dar, курд. dār, барт. divör, руш. divö, шугн. divi, яги. devār, осет. dwar;

'лиса'—авест. gaoriš, ср.-перс. gōrās, перс. rūbāh, тадж. rūboh, белудж. goba, ягн. guba, осет. ruvas, шугн. rūрс, руш. rūрс, курд. ruvi и мн. др.;

2) в большинстве глагольных корней, например:

'делать' – др.-перс. $\sqrt{kr}$, перс. *kārdān* (коп), тадж. *kardan* (кап), курд. *kəɾəp*, осет. *кæпъп*, белудж. *kurtin* (кап), гил. *kudən* (кип), мазанд. *həkərdən*, руш. основы *kin*: *ćüg*, шугн. *kin*: *ćud*, афг. *kavəl*;

'есть', 'кушать' – авест. $\sqrt{xuar}$, ср.-перс. *xuartan* (*xuar*), перс. *xordān* (хор), тадж. *xūrdan* (*xūr*), курд. *xwāɾən*, белудж. *wartin* (*war*), афг. *xvarəl*, осет. *хæгъп*, шугн. основы *xāg*: *xūd*, ягн. основы *xuar*;

3) в местоимениях, например:

'я' – др.-перс. *adam*, род. пад. *manā*; авест. *azəm*, род. пад. *manā*; перс. *mān*; тадж. *man*; гил. *тəп*; мазанд. *mən*; белудж. *man*; тал. *az*, косв. пад. *tī(p)*; курд. *āz*, косв. пад. *тəп*; руш. *az*; осет. *æz*, косв. пад. *mæn*; ягн. *man*; афг. *zə*, косв. пад. *mī*; шугн. *wuz*, косв. пад. *mi*;

'ты' – др.-перс. *tuvam*, ср.-перс. *tu*, перс. *to*, тадж. *tu*, гил. *tu*, мазанд. *tə*, белудж. *ta*, курд. *tũ*, ягн. *tu*, афг. *tə*, осет. *du* и др.;

4) в числительных, например:

'два' – авест. *dva-*, др.-перс. *duvitiya* 'второй', ср.-перс. *du*, перс. *do*, тадж. *du*, белудж. *du*, шугн. *ḍiyūn*, афг. *dva*, ягн. *du*, осет. *duwaæ*, татск. *dy* и др.;

5) в предлогах, послелогах и союзах:

послелог: др.-перс. *gādiy* 'ради', курд. *ga* – показатель косвенного объекта, перс. *gā*, тадж. *go* – показатели прямого объекта и т.д.;

предлог со значением исходности: авест., др.-перс. *haśā*, курд. *žь*, перс. *āz*, тадж. *az*, татск. *æz*, тал. *śь*, шугн. *as*, язг. *š(ə)* и т.д.;

сочинительный союз 'и': др.-перс. *atā*, авест. *uta*, шугн.-руш. *atā*, *at*, язг. *ata/at/a*, ишк. *-ət/-t*

Большую роль в формировании лексики иранских языков играли и продолжают играть иноязычные заимствования. Сюда относятся:

1) заимствования из языков, принадлежащих к другим языковым семьям, например, большое количество слов заимствовали иранские языки из тюркских (татский и талышский – из азербайджанского, белуджский и диалект курдов Туркмении – из туркменского), в определенную эпоху в иранские языки вошло большое количество культурной лексики из арабского языка;

2) заимствования из родственных языков внутри самой иранской группы: сюда прежде всего относится лексическое влияние таджикского языка на бесписьменные языки на территории Таджикистана (ягнобский и памирские языки). Как результат обратного влияния можно отметить определенное количество восточноиранской лексики в ряде таджикских говоров.

Все сказанное выше относится не только к исследованиям арийской языковой общности в целом, но и к изучению в сравнительно-историческом аспекте языков каждой из входящих в нее «ветвей». Так, анализ данных ряда живых восточноиранских языков, в большинстве своем бесписьменных, заставил внести ряд существенных поправок в традиционную реконструкцию общеиранского праязыка. Теперь этот праязык представляется гораздо более архаичным, чем полагали исследователи ранее.

В современной компаративистике общепринятой стала точка зрения, согласно которой точное определение места конкретного языка или группы языков в генетической классификации возможно только после скрупулезного изучения всего наличного языкового материала, направленного как на выявление специфических черт этого языка или группы, так и на построение иерархии этих черт с точки зрения их значимости для исследования. Иными словами, необходимо отделить генетически унаследованные классифицирующие признаки от типоло-

гических и ареальных, с тем, чтобы затем полностью отвлечься от двух последних и сосредоточить все внимание на первых. Следует отметить, что проведение такой работы сопряжено с особыми трудностями при исследовании иранских языков Южного Кавказа. Бытуя в горных районах и труднодоступных местностях, талышский, курдский и татский языки находятся в теснейших контактах друг с другом, а также и с другими языками, как родственными, так и не обнаруживающими какого-либо родства (тюркскими, кавказско-иберийскими). Неудивительно поэтому, что процессы языковой конвергенции в рассматриваемом регионе зашли столь далеко, что полное разграничение генетических, типологических и ареальных признаков представляется задачей крайне трудной, хотя говорить о ее невыполнимости пока нет оснований.

Исследование особенностей других уровней языка едва ли может дать сколько-нибудь показательные результаты: синтаксис подвержен чрезвычайно быстрым и кардинальным изменениям, как спонтанным, так и вызванным межъязыковыми контактами, а для исследования исторической семантики пока еще нет более или менее разработанной точной методики. Изучение морфологии иранских языков Южного Кавказа в сравнительно-историческом аспекте представляется нам процедурой трудоемкой и при этом может оказаться не слишком результативным. Известно, что морфологические системы древних иранских языков и древнеиндийского настолько близки между собой, что выявление классифицирующих инноваций для каждой из «ветвей» сопряжено с немалыми трудностями. Таким образом, сравнительно-исторический анализ морфологического уровня должен свестись фактически к поиску в иранских языках Южного Кавказа возможных этимологических параллелей для тех заведомо немногочис-

ленных словоизменительных и словообразовательных элементов, которые, имея разный вид в древнеиндийском и древних иранских языках, не обнаруживают друг с другом регулярных фонетических соответствий.

Однако подобного рода расхождения между индоарийскими и иранскими языками не только малочисленны, но и в значительной своей части весьма сомнительны с точки зрения возможности рассмотрения их в качестве классифицирующих. Ряд исследований по сравнительной иранистике, например, показал, что существенная часть подобного рода изоглосс, будучи присущей как древнеиндийскому, так и отдельным иранским языкам, отделяет, следовательно, не индоарийскую «ветвь» от иранской, а лишь определенную часть древнеиранских диалектов (например, древнеперсидский) от всех других арийских. Однако систематическое рассмотрение словарного материала по бытовой лексике иранских языков Южного Кавказа в сравнительно-историческом аспекте, как можно судить по доступным нам в настоящее время работам, не проводилось исследователями и представляет огромный научный и практический интерес.

Таким образом, опыт исследований живых арийских языков показывает, что результаты этих исследований зачастую не уступают по своей значимости результатам сравнительно-исторического анализа материала языков древности. Тем не менее, как уже отмечалось, количество темных мест в данной области сравнительно-исторического языкознания еще очень велико. Их устранение, по нашему мнению, принадлежит к числу основных задач индоевропеистики в обозримом будущем.

Значение диахронических и ареальных сопоставлений при изучении языка канонизированных текстов

Х. И. УСТА (АНКАРА)

Одним из фундаментальных противопоставлений в лингвистике, которые провозгласил в своём «Курсе» Ф. де Соссюр, было противопоставление «внутренней» и «внешней» лингвистики. В последней он указывал на связи лингвистики с историей этноса, с географическим распространением языков и их диалектным разнообразием, на отношения между языком и политической историей, между языком и такими «установлениями, как церковь, школа и т.п., которые в свою очередь тесно связаны с литературным развитием языка, – явление тем более общее, что оно само неотделимо от политической истории». Обратив внимание на проблемы взаимозависимости языка и общества, Соссюр в своих лекциях отвел этим аспектам науки о языке немного места. Однако благодаря авторитету именно этого ученого социолингвистика получила впоследствии мощный импульс для своего развития.

В то же время следует отметить, что Соссюр, выделяя в рамках диахронической лингвистики две хронологические перспективы, в её «перспективном методе» важное место отводил критике письменных источников. В этом отношении для нас представляют интерес факты истории тюркских языков, в том числе и турецкого, которые можно выявить в средневековых письменных памятниках, но специфических по содержанию, а именно –связанных с мусульманской религией текстах, более того, с главной священной книгой мусульман – Кораном.

Канонизированный в 651 г. текст Корана, признанный единственно полным и подлинным, дошел до наших дней в неизменном

виде. Однако с течением времени, по мере развития классического арабского языка, для читателей становились непонятными некоторые места коранического текста. Это вызвало в мусульманском богословии появление специальных трудов – «тафсиров», толкований «темных мест». Тафсиры появлялись и тогда, когда догматы ислама разъяснялись прозелитам, в том числе и тюркам. Эти тафсиры создавались на тюркских литературных языках средневековья, распространенных в разных географических регионах. Некоторые из них представляют собой подстрочный перевод Корана, дополненный комментариями к соответствующим сурам и подходящими тематически художественными текстами.

Таким образом, мы имеем тюркоязычные тексты XIII–XV вв., созданные в основном в Средней Азии (т.е. ареально отдаленные от Малой Азии), но на основе канонизированного текста Корана, причем тексты как вариативно ограниченные исходным единым арабским текстом, так и допускающие разную художественную интерпретацию некоего стандартного сюжета.

Отметим, что если для русского и западноевропейского языкознания перспективный метод работы с письменными памятниками не нов, то для тюркологии внесение в методику исследования социолингвистических аспектов, а также методов диахронической и ареальной лингвистики является одной из насущных задач.

В нашем докладе указанные проблемы рассматриваются на сопоставительном материале 3 тафсиров из Средней Азии, один из которых хранится в Санкт-Петербурге, а другие находятся в книгохранилищах Лондона и Турции.

Известно также, что тюрки знакомились с основами мусульманства скорее не по арабским источникам, а именно по персидским

переводам. Первичные подстрочные комментарии Корана были на персидском языке, тюркские переводы тоже основывались на персидских комментариях.

Вероятно, поэтому в средневековых тюркских памятниках в терминологии мусульманства оказалось много персидских заимствований: намаз (пер.) в.м. салат (араб.) "молитва"; оруч (< рузе перс.) в.м. савм (араб.) "пост"; абдест (перс.) в.м. гусл (араб.) "омовение"; байрам (перс.) в.м. ийд (араб.) "праздник"; фирдевс (перс.) в.м. дженнет (араб.) "рай" и т.п. Другой особенностью переводов была их буквальность, которой по указанным выше причинам объясняется выбор соответствующей лексики, а также отступления от стандартного тюркского порядка слов в пользу арабского или персидского.

Сравнение 3 тафсиров позволяет показать региональную вариативность переводов в отношении их лексики, грамматики и синтаксиса.

Приведем примеры: 1. Вот воззвал он к Господу своему зовом тайным (Крачк., XIX:3) – *Çağan kim oқıdı erse İdisini, yaşru oқımaq* (СпАз. Т.) // *Ançada ündedi İdisini ündemek örtügli* (Rylan) // *Ol vaқtın kim kıқırdı İdisini, kıқırmak örtüglüg* (İstan). 2. И я боюсь близких после меня, а жена моя бесплодна; дай же мне от Тебя наследника! (Крачк., XIX:5) – *Men қорқдум yaқ yawuқlarda mende kiđin. Erür benim ĥatunum oğulsız қarı. Bağısлаğıl maņa seniң üsküңdin bir dost* (СпАз.Т.) // *Men қорқар мен yaғuқларымдın mende kiđin erür urağutum қıсır, bergil maņa seniң dergāһıңdın bir edğü oğul* (Rylan) // *Taқı men қорқtum қayaşlardın, songumdın. Taқı irdi cüftüm қıсır. Birgil manga қatıңdın veli* (İstan). 3. Он наследует мне и наследует роду Йакуба, и сделай его, Господи, угодным (Крачк., XIX:6) – *Ança mırāş alsun mendin, mırāş alsun Yaқub oғuşларındın. Қılğıl anı ey İdim, tilemiş* (СпАз.Т.) // *Mırāş alsu mendin hem*

mîrâş alsu Ya'qûb bođnındın hem ewürgil anı ey İđim taplanmış (Rylan) // Mîrâş alur mindin taķı mîrâş alur Ya'qûb kökindin. Qılğıl İđim hoşnûd (İstan). 4. И потряси над собой ствол пальмы, она уронит к тебе свежие, спелые (Крачк., XIX:25) – İrgatğıl yâ Meryem seniñ tapa ħurmâ yığağını , ançoķ tüşsün seniñ üze yaş ħurmâ iwülmüş (CpAz.T.) // İrgağıl seniñ tapa ħurmâ tüpini tüşsün üçün seniñ üze yaş ħurmâ (Rylan) // Taķı tepretgil seniñ tapa ħurmâ yığağınunğ özeni birle, tüşsün sening üze tâze ħurmâ tâze yolunmuş (İstan).

Литература

1. Боровков А.К. Лексика среднеазиатского тefsира . – М.: Вост. лит., 1963. = (CpAz.T.).
2. Коран / Пер. и коммент. И.Ю. Крачковского. Изд.2-е. М.: Вост. лит., 1986 = (Крачк.).
3. Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики // Ф.де Соссюр. Труды по языкознанию. М.: Прогресс, 1977.
4. Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков: Лексика . М.: Наука, 1997.
5. Borovkov A.K. Orta Asya'da Bulunmuş Kur'an Tefsirinin Söz Varlığı / Пер. Х.И. Уста. – Ankara: TDK, 2002.
6. Eckmann J. Middle Turkic Glosses of The Rylands Interlinear Koran Translation . – Budapest: Akad. Kiado, 1976. = (Rylan).
7. Sağol G. An Inter-linear Translation of The Qur'an into Khwarazm Turkish . – Harvard University, 1993. = (İstan).

Гидроним *Vindupalis* в контексте истории языков Западного Средиземноморья

А. И. ФАЛИЛЕЕВ (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)

Гидроним *Vindupalis*, зафиксированный дважды в форме аблатива (*ex riuo Vindupale* и *ex riuo Vendupale*, CIL V, 7749), традиционно считается лигурским композитом. Как полагают, он отражает **vindupalis* ‘(река) с белыми камнями’. Основной причиной лигурской атрибуции этого речного названия является его географическое положение (Val Polcevera в северной Италии, см. географическую реконструкцию региона в работе Crawford 2003) в увязке с некоторыми собственно лингвистическими наблюдениями. Некоторые исследователи, впрочем, видят в нём гибридное кельтско-лигурское образование. Доводы сторонников этого подхода очевидны (см. ниже), однако можно согласиться с Дж. Петракко Сикарди в том, что необходимости в этом нет [Petracco Sicardi 1981: 81]. Согласно П. Де Бернардо Штемпель, которая усматривает практически во всех географических названиях региона реликты самой ранней стадии истории кельтских языков, гидроним является кельтским [De Bernardo Stempel 2006: 49]. Отмечу, что Де Бернардо Штемпель относится к той группе современных исследователей, которая рассматривает рудименты индоевропейского (или «индоевропеизированного») пласта лигурского в качестве памятников кельтского языка, но это направление в изучении фрагментарных языков Западного Средиземноморья, получившее в последние годы немало сторонников, представляется необоснованным. Имеются и более сложные подходы к исследованию гидронима *Vindupalis*, в частности, используемые Б. Проспер и её коллегами [Prósper 1998, ср. Villar, Prósper 2005], согласно которым его следует анализировать как **vind-upalis* ‘извилистая река’ *vel sim.*

Так как модель европейской гидронимии, отстаиваемая этими исследователями, кажется не вполне убедительной (см. Falileyev 2008 с дальнейшей библиографией), на критике этой новой этимологии не следует останавливаться. Однако Б. Проспер вполне резонно предъявляет серьезные претензии традиционной этимологии, и поставленные ею вопросы требуют обсуждения.

Напомню, что традиционный анализ гидронима видит в первой его части лигурск. *vindV*- ‘белый’, которое рассматривается либо как родственное кельтскому **vindo*- ‘id.’ («кельто-лигурская изоглосса», однако см. о возможных германских соответствиях [Wodtko et al. 2008: 722]), либо как заимствование из кельтского, см. [Lejeune 1971: 86]. Как резонно отмечает Проспер, в лепонтийском, контакты носителей которого с лигурами не ставятся под сомнения, наблюдается переход **nd* > *л(п)*. Однако заимствование могло произойти и из (общее) кельтского, и из другого (раннего) кельтского диалекта, но, скорее всего, мы имеем дело не с заимствованием, а с генетически родственными словами. Вторая проблема, отмеченная Проспер, связана с ауслаутом лигурского слова. Исследовательница справедливо ссылается на галльские композиты, где вместо ожидаемого *-o-* мы находим *-u-*, однако, по понятным причинам эти соображения не могут быть решающими. Сразу же следует отметить, что в тексте, где встречается гидроним, имеются и существенные вариации в написании географических названий, ср., напр., *Porcobera* и *Procobera* (и ниже про написания *i/e*), и, в принципе, речное название, известное только по этой надписи, могло бы быть зафиксировано с ошибкой. Впрочем, собственно лингвистическое объяснение этой проблемы представляется более уместным.

Следует напомнить в этой связи о целом ряде попыток объяснить финальное *-u*. Так, М. Лежён (*loc.cit.*) полагал, что здесь мы мо-

жем иметь дело с латинским влиянием (апофония, ср. лат. *pontufex*), или что *-u* в этом прилагательном исторично. Изменение *-o* > *-u* перед лабиальным, конечно, известно в латыни (ср. [Leumann 1977: 390]), но, с точки зрения Б. Проспер, эти доводы, не должны использоваться при анализе материала других языков. Аргумент Проспер в целом понятен, но сам объем и характер (и.-е.) лигурских данных не позволяет сделать каких-либо однозначных выводов – напомним, что гипотеза об особенно тесных генетических связях между лигурским и итальянскими языками (ср. уже PID II: 590), разделяемая и сейчас некоторыми учеными, не находит достаточного материального подтверждения. Однако в нашем распоряжении всё-таки имеются некоторые свидетельства, позволяющие вернуться к традиционной интерпретации первой части гидронима. Как отмечала Дж. Петракко Сикарди, топонимический материал, рассматриваемый, как и.-е. лигурский, несмотря на известные и вполне ожидаемые сложности его этимологического анализа, демонстрирует относительную редкость использования *o* при высокой частотности дифтонгов (диграфов) *au* и *ou* [Petracco Sicardi 1981: 26]. Конечно, речь не идет об отсутствии фонемы [o] в лигурском, ср., напр., классический пример *Porcobera* < **porko-bher*-, однако следует учесть, что в другом классическом примере – гидрониме *Bodincus* – первый гласный, скорее всего, не восходит к и.-е. **o*. Более того, в нашем распоряжении имеется и точная формальная параллель рассматриваемому гидрониму: лигурск. топоним *Leuco-mellus* засвидетельствован и в написании *Leucu-mellus*, см. далее [Devoto 1962: 201-2] (и там же по поводу совр. *Prealba* < лат. *pretra alba*).

В пользу реальности лигурск. *vindV*- ‘белый’ может свидетельствовать и анализ топонима *Vindasca* (совр. *Venasque* на юге Франции), который уже рассматривался в литературе как неидеоевропей-

ский, лигурский (в широком смысле) и даже кельтский, см. ссылки в [Falileyev et al. 2010: 237]. Так как населенный пункт расположен в пределах распространения лигурского языка, лигурская языковая атрибуция его названия, по крайней мере, допустима, в то время как кельтская – с точки зрения исторической морфологии – оказывается достаточно проблематичной. Соответственно, топоним может быть проанализирован как производное от рассматриваемого лигурск. *vindV*-с помощью суффикса *-ask-*. Как известно, дискуссии о происхождении этого суффикса (индоевропейский или доиндоевропейский) продолжаются и сегодня, однако для рассматриваемого примера этот вопрос не является сколько-либо важным.

Однако на этом сложности анализа первого компонента не заканчиваются. Представляется, что следует уделить некоторое внимание и варианту его написания *Vendupalis*, которое, конечно, может оказаться ошибочным, ср. пример из этого же текста выше. Согласно же Дж. Петракко Сикарди, чередование *ǵ* и *ǵ̃*, а также тенденция к переходу первого звука во второй перед назальным, является особенностью лигурского материала [Petracco Sicardi 1981a: 91]. Скудность этого материала и очевидные трудности его этимологизации, конечно, не позволяют принять предложение итальянской исследовательницы в качестве фонетического закона, который, впрочем, применим ко многим другим и.-е. языкам. Однако возможность этого подтверждается целым рядом примеров (ср., напр., *Tuppelium* / *Tuppilium*). Теоретически также было бы можно предположить, что за этим лигурским апеллятивом скрывается рефлекс и.-е. **uendh-* ‘wenden’ (IEW: 1148, LIV: 681-2), что, конечно, вполне уместно для речного названия (ср. этимологию, предложенную Б. Проспер), однако такая интерпретация пред-

ставляется маловероятной в связи с композиционным построением этого гидронима.

Традиционная интерпретация второй части композита *Vindupalis* также вызвала сомнения у Б. Проспер. Лексема *pala*, известная в лепонтийском (см. обзор в [Hirunuma 1990]), считается заимствованием из лигурского, хотя в своё время она получила и кельтское этимологическое объяснение, в дальнейшем, правда, решительно отклоненное. К изучению истории слова в лигурском существует ряд подходов. Одни исследователи полагают, что лексема является доиндоевропейской, и, соответственно, её можно было бы объяснить (в зависимости от принятия той или иной концепции лигурского) как часть доиндоевропейского слоя лигурского, или как заимствование в (индоевропейский) лигурский из языка доиндоевропейского населения. Следует, впрочем, отметить, что для многих исследователей лигурск. *pala* все-таки остаётся индоевропейским словом, ср. [Pelligrini 1983: 34-5]. Соответственно, в гидрониме традиционно (см. уже [Lejeune 1971: 82]) видят *bahuvrīhi* с суффиксом *-i-*, ср. лат. *fama* и *-famīs*, *forma* и *-formīs*. Однако, как отмечает Б. Проспер, эта модель, характерная для латыни (ср. [Leumann 1977: 346-7]), может быть нерелевантна для других языков, в том числе и лигурского. Вероятно, работа [Poultney 1953] (особенно с. 376-381, ср. [Rasmussen 2002: 334]), где рассматриваются сходные явления в других и.-е. языках, была этой исследовательнице недоступна, ср. также недавнее тщательное исследование индоевропейской основы лигурских композитов [Mariani 2003]. Также трудно согласиться (и в связи со сказанным выше) с Проспер и в том, что лигурское прилагательное-композит вряд ли могло быть использовано для наименования реки.

Таким образом, интерпретация лигурского гидронима *Vindupalis* как 'Белокаменная (река)' *vel sim.*, несмотря на существующую критику, остаётся всё-таки возможной и даже достаточно привлекательной. Однако, по понятным причинам, в абсолютной её надёжности уверенности быть не может. В этой связи можно обратить внимание и на лигурский гидроним *Palo* (напр., Plin. *HN* III, 5, 47), ассоциируемый с современной рекой Paglione. В литературе его нередко сопоставляют с рассмотренным выше *pala* 'камень' (см. [Petracco Sicardi 1981: 66]), что может быть вполне и оправданным, в том числе и семантически. Тут уместно было бы обратить внимание на то, что в своём исследовании истории рассматриваемого речного названия Б. Проспер учитывает и «гидронимический корень *pal-*» (ср. и.-е. **peł-* IEW: 798), который, по крайней мере, теоретически, могла бы объяснить гидроним *Palo*. В таком случае было бы уместно учитывать и это объяснение для интерпретации второй части композита *Vindupalis*, соотв. 'Белая река' (или 'Вьющаяся река', если первый компонент композита продолжает и.-е. **uendh-*). Однако никакой уверенности в том, что этот «гидронимический корень» действительно сохранился в лигурском (или даже реально существовал) у нас нет, и отказ от традиционной этимологии в этой связи и в этом случае был бы неоправданным.

Библиография

1. P. De Bernardo Stempel. Language and the Historiography of Celtic-speaking peoples // *Celtes et Gaulois. L'archéologie face à l'histoire* 1. Glux-en-Glenne, 2006. P. 35-56.
2. G. Devoto. Pour l'histoire de l'indo-européanisation de l'Italie septentrionale: quelques etymologies lépontiques // *Revue de philologie* 1962. T. 36. P. 197-208.

3. M. Crawford. Language and Geography in the Sententia Minuciorum // *Athenaeum* 2003. T. 91. P. 204-210.
4. A. Falileyev. Roman and Pre-Roman: the Balkans and Hispania. A case of mal // *The Romance Balkans*. Belgrade, 2008. P. 37-44.
5. A. Falileyev (in collaboration with A. E. Gohil and N. Ward). Dictionary of Continental Celtic Place-Names. Aberystwyth, 2010.
6. T. Hirunuma. Lepontic pala // *Studia Celtica Japonica* 1990. V. 3. P. 61-68.
7. M. Lejeune. *Lepontica*. Paris, 1971.
8. M. Leumann. *Lateinische Laut- und Formenlehre*. 1. Bd. München, 1977.
9. M. Mariani. Riflessi di tipi compositivi indoeuropei nella toponomastica ligure di epoca antico-romana: ipotesi sul tipo a primo membro verbale reggente // *Toponomastica ligure e preromana*. Recco, 2003. P. 221-248.
10. G. B. Pelligrini. Osservazione lessicali sulle lingue preromane dell'Italia superiore // *Le lingue indoeuropee di frammentaria attestazione*. Pisa, 1983. P. 29-64.
11. G. Petracco Sicardi. La toponomastica preromana e romana della Liguria // G. Petracco Sicardi, R. Caprini. *Toponomastica storica della Liguria*. Genova, 1981. P. 7-82.
12. G. Petracco Sicardi. Liguri e Celti nell'Italia settentrionale // *I Celti d'Italia*. Pisa, 1981a. P. 71-96.
13. J. Poultny. The declension of Latin compound adjectives // *The American Journal of Philology* 1953. V. 74. P. 367-382.
14. B. M. Prósper. Indogermanisches bei einem ligurischen Wort: "Ex rivo Vindupale" // *BzN* 1998. B. 33. S. 143-58.

15. J. E. Rasmussen. The compound as a phonological domain in Indo-European // TPhS 2002. V. 100. P. 331-350.
16. F. Villar, B. M. Prósper. Vascos, Celtas e Indoeuropeos: Genes y Lenguas. Salamanca, 2005.
17. D. Wodtko, B. Irslinger, C. Schneider. *Nomina im indogermanischen Lexikon. Heidelberg, 2008.*

Винительный и дательный падежи в позиции адресата при глаголах речи

К. В. ХАРИТОНОВА (МОСКВА)

Управление как тип синтаксической связи в разных индоевропейских языках представляет собой актуальную тему для рассмотрения. Поскольку синтаксическая связь является двуплановой сущностью, характеризваемой определённой формой и определённым *обобщённым* значением, немаловажно, в какой форме должен стоять каждый из элементов связи для привнесения того или иного компонента *обобщённого* значения в словосочетание или предложение.

Носителем обобщённого значения является лексико-семантическая группа слов. Члены лексико-семантической группы обладают общими морфологическими характеристиками и общими типами сочетаемости с единицами других частей речи. Таким образом, *глаголы речи* должны управлять существительными/местоимениями в каком-то определённом падеже. В индоевропейских языках существительное в позиции адресата при глаголах речи ставится в аккузативе или дативе.

Представляется необходимым проследить зависимость падежа существительного (в позиции адресата) от семантики глагола, т.е. его принадлежности к определённому подклассу глаголов речи (напр., глагол сообщения, называния, приказа, отказа, вопроса). Наблюдение производится на материале памятников санскрита и древнеирландского языка. Несмотря на то, что эти языки не являются близкородственными, речевые ситуации в них оформляются зачастую сходным образом.

Так, слова подкласса «глаголы сообщения» обычно управляют винительным падежом существительного.

В санскрите:

pratyā ṣvaste jane tasminrājā vigatasādhvasah
uvāca prāñjalirvākyam vākyajño munipuṃgavam [вин. ед.ч.]
(Rāmāyana I, 67; 20).

«Когда этот народ успокоился, царь, лишённый страха, со сложенными молитвенно ладонями, сведущий в речах, сказал речь лучшему из мудрецов...»

В древнеирландском:

Isbert Genann Grúadsholus macc Cathbaid fría [сочетание предлог+притяжательное местоимение] muintir [вин. падеж, мн.ч.] in tansin (CA 245).

«Сказал Генанн Великий-Свет, сын Катбада, против своих людей (т.е. своим людям) тогда».

Местоимения в позиции адресата в этих языках ведут себя по-разному. В древнеирландском языке местоимение образует с предлогом слитную форму, Сочетания «предлог, управляющий аккузативом + личное местоимение» оканчиваются на -u (friú – «против них»), и именно аккузативные (а не дативные) сочетания употребляются при глаголах речи:

... accáinis friú [предлог+местоимение 3л мн.ч., вин. падеж] a beith aimrit. (CA 133)

«... жаловалась она им, что была бездетна».

В санскрите глаголы сообщения управляют личными местоимениями в аккузативе, дативе/генитиве, независимо от контекста или смысла глагола.

uttaram ca na te kimcidvyāhartavyam kathamcana
 pitāmahanisargeṇa tuṣṭā hyētadravīmi bravīmi te [дат/род].
 (Mahābhārata III. Sāvitrī 1.14)

«Ни о чём другом ты не должен больше просить.

Милостью Прародителя я довольна, и это я говорю тебе».

Однако в санскрите существует глагол сообщения *kath*, который способен управлять дательным падежом существительного:

muniguptau ca kākutsthau kathayantu nṛpāya [дат]/vai
 prītiyuktam tu rājānamānayantu suṣighragāh (Rāmāyaṇa I, 67, 26).

«Охраняемые мудрецами, 2 потомка Какустхи пусть расскажут царю,

Связанного дружбой царя пусть приведут быстрее».

Представляется возможным проследить, имеются ли контексты, в которых этот глагол управлял бы аккузативом, и с чем может быть связан выбор падежа в данном случае. При обращении же к древнеирландскому материалу можно отметить, что все глаголы речи без исключения управляют аккузативом с предлогом (реже, в поэтических текстах – без предлога) существительного и местоимения в позиции адресата.

Литература

1. Апресян Ю.Д. Трёхуровневая теория управления: лексикографический аспект // Типология языка и теория грамматики. Материалы Международной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения С. Д. Кацнельсона. СПб., 2007 (стр.17-21).
2. Гловинская М.Я. Семантика глаголов речи с точки зрения теории речевых актов // Русский язык в его функционировании.

Коммуникативно-прагматический аспект. РАН, Институт русского языка, М., 1993 (стр.158-218).

3. Михайлова Т.А. Древнеирландский язык (краткий очерк). М., 2010.
4. Якобсон Р. К общему учению о падеже. // Р.О. Якобсон. Избранные работы. М., 1998, стр. 133-175.
5. John Strahan, Old-Irish Paradigms and Selections from the Old-Irish Glosses. Royal Irish Academy, Dublin, 1929.
6. Кочергина В.А. Книга для чтения на санскрите. М.,2010, стр. 35-56, 65-68.

Электронные ресурсы

7. Корпус текстов на древнеирландском языке:
8. CELT: The Corpus of Electronic Texts.
<http://www.ucc.ie/celt/published/G503002/index.html>

Реализация семантического перехода ‘светить’ → ‘темнеть’ в древнегреческом и русском языках

О.В. ЦАРЕГОРОДЦЕВА (ТОМСК)

Свет и тьма как понятия несут в себе мощное антонимическое напряжение, несмотря на это, в лексике индоевропейских языков наблюдается семантический переход от ‘светить’ к ‘темнеть’. Семантическая модель ‘светить’→ ‘темнеть’ наблюдается в семантической структуре производных и.-е. основ со значением неровного, прерывистого света *meg- ‘●●●●●●●●, ●●●●●●●●’, *meigh-/ *meik- ‘мерцать, мелькать’, ‘трепетать’: *мерцать* и *меркнуть*, *мигать* и *мгла*.

Эта же модель прослеживается в системе производных от корня *sk'āi/*sk'əi/*sk'i-, значение которого Ю. Покорный определяет как ‘приглушенно светить’, ‘тень’, ‘отражение’ [1, с. 917–918].

От этого корня в и.-е. языках зафиксированы *sk'āi/*sk'əi/*sk'i- встречаются следующие лексемы: древнеинд. chāyá ‘сияние, отражение, тень’, н.-перс. sāya ‘тень, защита’, древнегреч. σκιά ‘тень, призрак, видение’, σκηνή ‘покров’, гот. skeinan ‘светить, сиять’, латыш. sejs ‘тень’, алб. hije ‘тень’, д.-в.-нем. skīnan ‘светить, сиять’, нем. scheinen ‘светить’, ‘казаться, иметь вид’, древнеисл. skīna ‘блестеть’, древнеангл. scīnan ‘сиять’, англ. shine ‘сияние, свет’, к этому же корню относится русское *сиять*, *синий* [1, с. 917–918], к этому же корню традиционно относят и русское *сень* [1; 2; 3; 4] и *стеня* [1; 2]. В пределах дериватов от одного корня сосуществуют такие значения, как ‘сияние’ и ‘тень’.

Значение существительного *сень* в современном русском языке ‘покров, полог, укрытие, образуемое кронами деревьев, их ветвями, листвою’ [5, т. 4]. В древнерусском языке *сѣнь* было зафиксировано с таким спектром значений: 1) ‘тень’// ‘древесный лиственный покров,

создающий защиту от солнца', 2) 'шатер, палатка', 3) 'скиния', 4) 'навес, балдахин', 5) 'видимость, подобие', 6) 'нечто призрачное, иллюзорное', 7) 'мрак, темнота, сумрак' [6, в. 24]. В славянских языках форме *сень* соответствуют болг. *сянка* 'тень', с.-хорв. *сѣн* (*sjěp*) 'тень, сень', н.-луж. *seń* 'тень' [2, т. 2]. Восстанавливается праслав. форма **sěнь* (**sěni*), которая является результатом выпадения -s- в форме **ssěнь* ← **skěнь*. В древнерусском языке зафиксировано и существительное *стѣнь*, которое по семантике было очень близко к *сѣнь*, ср. его значения: 1) 'место, защищенное от света', 2) 'стена', 3) 'тень предмета', 4) 'отблеск', 5) 'призрак, видение', 6) 'подобие', 7) 'недействительность, мечта', 8) 'неопределенность', 9) 'неправда', 10) 'ложный бог, кумир' [7, т. 3, с. 588–589]. Есть общие с *сѣнь* значения: 'тень', 'призрак, видение, что-л. призрачное'. У *стѣнь* есть еще значение 'стена'. Можно предположить развитие этого значения из значения 'тень как место защищенное от света', но это очень спорный вопрос. Ю.В. Откупщиков считает и *сѣнь*, и *стѣнь*, а также *стѣна* производными и.-е. *(s)teg-, от которого в и.-е. языках: древнегреч. *отέυος* и *тёуος*, *отέυη* и *тёуη* 'крыша, кровля, дом', древнегреч. *отέυω* и лат. *tēgo* 'покрывать' с чередованием *st- и *t- [8, с. 156–159]. У *сень* и *стень* есть семантика 'укрытие, навес', которая легко объясняется значением и.-е. *(s)teg- 'покрывать'. Фонетически слово *стень* тоже более оправданно относится к и.-е. *(s)teg-, Ю.В. Откупщиковым восстанавливается праслав. * (s)tegnis 'укрытое место'. Гипотезу о происхождении *стень* из **skāi*/**sk'ai*/**sk'i*- труднее объяснить с точки зрения фонетики. Этимологи объясняют появление -t- в форме *стень* переходом **skěнь* → **scěнь* → **stěнь* (К. Бругман), но еще В. Вондраком было замечено, что на славянской почве **sk*- никогда не переходило в **st*-. Однако он же считает **sěнь* производным **skāi*/**sk'ai*/**sk'i*-, а **stěнь* контаминацией **sěнь* и **těнь*. Возможно, на

семантику *сѣнь* могло оказать влияние значение существительного *сѣнна*, ср. в древнерусском *застѣнять* ‘огораживать’. Мы считаем праслав. *sěнь производным и.-е. *skāi/*skāi/*skī- по нескольким причинам.

Во-первых, по семантической структуре *сень* очень похоже на древнегреч. σκιά́ ‘1) тень, 2) призрак, 3) видимость, иллюзия, ничто’ [9], σκιήν ‘покрыв, шатер, навес, балдахин’ [там же], ср. контексты: αἱ τῶν δένδρων σκαί Хеп. [там же] и *Видиши на пути дубие...красьну сень имуще* [6, в. 24], в контекстах глагола σκιάζω – ὁ ἡνῶμων σκιάζει μέσην τὴν λόλον Лус. ‘стрелка отбрасывает тень на середину солнечных часов’ [9] и *Речи Исаия и егда есть сѣнь десять степени* [6, в. 24]. Евангельское σκιά переводилось именно русским *сень*, ср. *Что неистовиши о сѣнехъ? Что оставль истину и течеси на сѣни* (περὶ τὰς σκιάς...ἐπὶ τὰς σκιάς)? (Сл. Ио. Злат.). [6, в. 24].

Во-вторых, в древнерусском языке зафиксирован глагол *осенять* со значением не только ‘покрывать собой, своей тенью’, но и со значением ‘сиять, светить, бросать отблеск’, ‘освещать, озарять’: *Егда солнце восходитъ, и ту гору лучами своими осѣняет...* [6, в. 13], ср. также древнегреческое σκιάζω ‘покрывать тенью, осенять’ в контексте σ. τὰ ἡλιοῦμενα Хеп. В современном русском языке глагол *осенить* имеет значение ‘внезапно появиться, возникнуть (о мысли, догадке)’, ср. *озарять* ‘освещать’, ‘внезапно возникать (о мысли)’.

В-третьих, типологически легко сближаются производные «световых» и.-е. основ *teg- ‘сверкать’ и *meik- ‘мерцать’: русское *мерцать* и *мрак* ‘темнота’, *морок* ‘призрак, видение’, *мигать* и *мечта* в значении ‘призрак’ – и производные *skāi/*skāi/*skī- *сиять* ‘ярко светить’ и *сень* ‘тень, призрак, что-либо иллюзорное’, σκιά́ ‘тень, призрак, види-

мость, иллюзия, ничто'. Что касается существительного *стень*, то это слово более проблемно, но, на наш взгляд, его тоже можно отнести к производным и.-е. корня *sk'āi/*sk'əi/*sk'i-. Мы утверждаем так по ряду причин. Во-первых, у *стһнь* в древнерусском языке зафиксировано световое значение 'отблеск': *Яко же по водамъ слъньчънии стһнве и образи* [7, т. 3, с. 589], во-вторых, *стһнь* обнаруживает близость к семантике существительного *сһнь* в значениях 'тень, призрак, что-либо иллюзорное' и может быть сопоставимо по семантике со словами *мрак, морок, мечта*. На фонетическую форму *стһнь*, действительно, могли оказать влияние *тень* и *стена*.

На наш взгляд, основа *sk'āi/*sk'əi/*sk'i- близка к определению 'светить неровным светом', как *mer- 'сверкать' и *meik- 'мерцать'. Сравним, например, в латинском языке от этого корня – scintilla 'искра', scintillatio 'мерцание', 'сверкание', scintillāre 'искриться, блистать, сверкать' [10], дериваты обозначают неровный свет. О. Н. Селиверстова при анализе глаголов со значением света утверждает, что глагол *сиять* несовместим с представлением о ровно распределенном свете, о чем свидетельствует контекст: *Солнце стояло близко на бледноясном небе, лучи его тоже как будто поблекли: они не сияли, они разливались ровным, почти водянистым светом* (Тургенев, Свидание) [11].

Итак, значение 'светить неровным светом' может развиваться либо по модели 'светить неровным светом' → 'терять свет, гаснуть' → 'становиться темным' (отсюда *сень*, древнегреч. οἶα 'тень, призрак, видение', οἶννι 'покров', в алб. hiје 'тень', а также русск. *синий*), либо по модели 'светить неровным светом' → 'светить ярко' (отсюда *сиять*, гот. skeinan 'сиять, светить, блеснуть', д.-в.-нем. skīnan 'светить, сиять' и т.п.), дериваты *sk'āi/*sk'əi/*sk'i- реализуют представление о неровном, либо разгорающемся, либо гаснущем, свете, поэтому в системе

дериватов от *skāi/*skāi/*skī- появляются такие, разные на первый взгляд слова, как *сень*, *синий*, *сиять*, *сизый*.

Литература

1. Pokorny J. Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. – Bern, München, 1959 – 1969.
2. Черных П. Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка. М.: Русский язык – Медиа, 2004. Т. 1-2.
3. Frisk Hj. Griechisches etymologisches Wörterbuch. Heidelberg, 1954 – 1970. Bd. 1-2.
4. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Прогресс, 1964- 1973. Т 1- 4.
5. Словарь русского языка: в 4 тт. / под ред. А. П. Евгеньевой. М.: Русский язык, 1981– 1984.
6. Словарь русского языка XI-XVII вв./ под ред. Бархударова С. Г. [и др.]. М.: Наука, 1975- 2002. В. 1– 26.
7. Срезневский И. И. Словарь древнерусского языка: в 4 тт. М.: Книга, 1989. Т. 1– 4.
8. Откупщиков Ю. В. Очерки по этимологии. СПб.: Изд-во С.-Петербур. ун-та, 2001. 480 с.
9. Дворецкий И. Х. Древнегреческо – русский словарь в 2 тт. М.: Гос. изд-во иностранных и национальных словарей, 1958.
10. Дворецкий И. Х. Латинско – русский словарь. М.: Русский язык, 2000. 846 с.
11. Селиверстова О. Н. Опыт семантического анализа группы русских и английских глаголов с общим компонентом «излучать свет» // Актуальные проблемы психологии речи и психологии обучения языку. М.: Изд. -во Московского ун-та, 1970. С. 98–115.

Страдательный залог в древних индоевропейских языках

А. В. ШАЦКОВ (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)

В глагольной системе большинства современных индоевропейских языков присутствуют два залога, действительный и страдательный. Однако в древнейших языках активному залогу чаще всего противопоставлен медиальный залог, и для протоиндоевропейского предполагается наличие именно этих двух категорий. Впрочем, согласно большинству описаний (из последних это монографии Дж. Клэксона (Clackson 2007) и Б. Фортсона (Fortson 2004), медиальный (медиопассивный) залог помимо таких значений, как возвратное или реципрокальное (о медиальном залогe с типологической точки зрения см. Kemmer 1993), мог также выражать и пассивные значения. Более того, некоторые исследователи, исходя в основном из соображений типологического характера, полагают, что именно передача пассивных значений и была основной функцией этой категории (Szemerényi 1996 254). Данный вопрос и будет обсуждаться в нашем докладе.

Если обратиться непосредственно к древним индоевропейским языкам, то мы не увидим единообразной картины. В некоторых семьях (например, кельтские, итальянские языки) категории, восходящие к древнему медиопассивному залогу, передают в основном страдательные значения. В других языках (германские, балто-славянские) древний медиопассив исчез. В третьей группе языков, в которую входят, в том числе, и древнейшие засвидетельствованные ранее прочих языки, такие как хеттский, древнегреческий и древнеиндийский, сохранилось противопоставление активный – медиопассивный залог.

При этом в самых ранних текстах языков третьей группы медиальные формы почти не используются для передачи пассивных значений (см. работы Х. Янкуна о пассиве в древнегреческом (Jankuhn 1969), Л. Куликова о пассиве в ведийском (Kulikov 2006) и А. Шацкова (2010) о хеттском), в то время как в последующие периоды подобные употребления становятся более распространенными. В этих языках мы часто видим появление новых, специализированных основ (особые основы на -η- и -θη- в древнегреческом и на -*ya-* в древнеиндийском, см. Kulikov 2001).

Таким образом, использование медиальных форм для выражения пассивных значений в протоиндоевропейском представляется весьма сомнительным. Однако это не означает отсутствие пассивных конструкций в языке, для их выражение могли использоваться, например, аналитические формы глагола.

Литература

1. J. Clackson, 2007. Indo-European linguistics: An introduction. (Cambridge Textbooks in Linguistics). Cambridge, New York: Cambridge University Press, 2007.
2. B. Fortson, 2004. Indo-European Language and Culture: *An introduction*. Blackwell publishing. 467 p..
3. S. Kemmer, 1993. The Middle Voice. Amsterdam: J. Benjamins. 299 p.
4. L. Kulikov, 2006. Passive and middle in Indo-European: Reconstructing the early Vedic passive paradigm. Passivization and Typology: Form and function (Typological Studies in Language 68). Eds.: W. Abraham, L. Leisio. Amsterdam: J. Benjamins. P. 62-81.

5. L. Kulikov. 2001. The Vedic -ya-presents. PhD Dissertation, Leiden University.
6. H. Jankuhn, 1969 Die Passive bedeutung medialer Formen untersucht an der Sprache Homers. KZ: Ergänzungsheft 21. Göttingen: Vanderhoeck und Ruprecht.
7. O. Szemerényi, 1996. Introduction to Indo-European Linguistics, 2nd English edition. Oxford: Clarendon press. 362 p.
8. А. Шацков, 2010. Пассивные употребления медиальных форм глагола в хеттском языке. Индоевропейское языкознание и классическая филология XIV. Материалы чтений, посвященных памяти профессора Иосифа Моисеевича Тронского. Часть II. С. 444-449.

Источник языковых изменений и критика лингвистической теории эмоций

Ю.В.ЩЕКА (МОСКВА)

Одним из основных заблуждений направлений структурализма, исходящих из абсолютного примата системы языка, таких как порождающая, функциональная, когнитивная лингвистика, представляется принципиальная неспособность объяснить языковые изменения. Важнейший факт, так или иначе отраженный во всех научных дисциплинах и являющийся очевидным приговором структурализму – не как направлению, изучающему структуру языка, а как направлению, ее абсолютизирующему – состоит в том, что структуры не имеют источников движения. Они не порождают нового и лишь постоянно воспроизводят наличную систему, т. е. прошлое. Структурализм, с самого начала при создании собственно лингвистики (внутренней лингвистики по Ф. де Соссюру), не сумел сохранить во главе угла живой язык как реальный – т. е. существенно междисциплинарный – объект, а сместил его на периферию языкознания (внешняя лингвистика по Ф. де Соссюру). Отсюда и сейчас для языковедов типично определенное психологическое недоверие к междисциплинарности. Но именно внутридисциплинарные рамки не позволяют им, как представляется, обрести ключ к пониманию развития и жизни языка. Весьма поучительная междисциплинарная интерпретация понятия спектра позволяет сказать, что структурам соответствует дискретный спектр, который всегда описывает повторяющиеся процессы (периодические функции). Обращение к спектру тут же ведет к открытию принципиально иного, внеструктурного начала. Дискретному спектру противостоит спектр сплошной, который описывает абсолютно уникальную сущность (непериодическую функцию). Абсолютно уникальная сущность есть

кальная сущность есть нечто такое, что никогда в прошлом не наблюдалось и никогда в будущем наблюдаться не будет. Ей невозможно приписать какие-либо определенные качества, поскольку она несопоставима ни с чем. Эта сущность есть Эмоция (большая буква подчеркивает отличие от ее структурной противоположности, т. е. от *понятия* эмоции). Она одновременно есть Бесконечность (противостоящая рациональному *понятию* бесконечности, которое, как и всякое понятие, конечно, структурно). При этом Реальность исключительно Бесконечна во всех своих проявлениях. Наше сообщение не посвящено религии, но мы видим, что открытие внеструктурного начала ведет к Богу (поскольку Реальность в принципе Эмоциональна). Структурализм – как совокупность направлений, изучающих в виде определяющего начала лишь структуру – не различает свой объект, т. е. живой, реальный язык. Речь есть (не реализация, а) действие структуры языка, которая в каждом акте общения приводится в движение Эмоцией говорящего. В этом и состоит источник развития и жизни языка, которого структурализм не замечает. Так, лингвистика эмоций и, в частности, книга В. И. Шаховского «Лингвистическая теория эмоций» (М., 2008), целиком строятся на подмене Эмоции структурным *понятием* эмоции. Утверждения автора чуть ли не везде должны, по нашему мнению, заменяться на прямо противоположные. «Эмоции» *не* «включены в структуру сознания и мышления», поскольку они внеструктурны. «Эмоция» *не* «имеет своих характерных знаков» (с. 16), т. к. Эмоцию нельзя выразить, ее можно только лично пережить. Эмоции не выражают – Эмоцией действуют. Фразеологизм «выразить эмоцию» является лишь условным и подразумевает *понятие* о той или иной эмоции (которое в собеседнике вовсе эту эмоцию не вызывает). «Эмоции» *не* «универсальны и узнаваемы во всех культурах» (с. 17), поскольку сама суть Эмоции состоит как раз в абсолютной уни-

кальности. Узнаваемы не Эмоции, а их внешние структурные манифестации. Художественные произведения выражают эмоции в том смысле, что вызывают у читателя некоторые неповторимо собственные Эмоции, которые проявляются в его системе деятельности, действиях и суждениях так, как к этому стремился автор (качественной оценке и сравнению подлежат лишь структурные сущности поведения и суждений, но вовсе не сами Эмоции). Иначе, вместо литературы и музыки существовали бы лишь каталоги «эмотив» (с. 30). Эмоция – это Энергия. Она движет структуру, но качеств у Энергии нет (есть лишь количество), поэтому мыслить ее как качественный коррелят чего-либо абсурдно. Значит, нет ни «лексикализованной (ословленной и означенной) эмоции», ни ее «концептуального значения» (с. 25). Аффективное слово как единица словаря есть сущность всецело рациональная. «Ему грустно» соотносит кого-то с рациональным понятием грусти, говорящий же никакой грусти не испытывает. «Эмоции» *не* «концептуализируются» и *не* вербализируются в языке» (с. 18). «Эмоциональный концепт», «эмоция в форме ментального конструкта» (с. 25) есть структурная (конечно-качественная) – т. е. абсолютная – противоположность Эмоции. Никакой проблемы «адекватности декодирования эмоции получателем» (с. 19) не существует. Не может существовать и никакого «вербального конгруэнтного коррелята» эмоции (с. 22). Лишенными смысла представляются понятия «внутренней парадигматики эмотивов» (с. 30), «эмотивного значения», «лексико-семантического поля эмотивов» (с. 30) и пр.

When Hittite Laryngeals are Secondary

И. С. ЯКУБОВИЧ (МОСКВА)

The discovery of a special set of post-velar fricatives in Hittite and the related Anatolian languages, transformed the field of the Indo-European linguistics. These consonants, which are traditionally called “laryngeals”, turned out to partially correspond to the hypothetical “*coefficients sonantiques*”, which had been postulated by Ferdinand de Saussure for Proto-Indo-European for purely structural reasons. The fulfillment of Saussure’s prediction vindicated the predictive power of comparative linguistics and determined the special status of “laryngeals” in Indo-European Studies for many years to come. There is, however, a group of examples, where it is necessary to argue for the secondary, epenthetic origin of Hittite laryngeals:

a) Hitt. *mēhur* /*n-* ‘time’. This noun cannot be separated from Hitt. *mē(y)an-* ‘range of the year, extent’. Both lexemes contain the root *mē*, which can be identified with IE. **mē-/meh₁* ‘to measure’, otherwise a commonly recognized source of Gothic *mel* ‘time’.

b) Hitt. *pēhute^{-mi}* ‘to lead, bring conduct (there)’. This verb cannot be separated from the symmetrical Hitt. *uwate^{-mi}* ‘to lead, bring conduct (there)’. Both lexemes are derived from the stem **wodheye-*, also yielding Russ. *водить* ‘to lead’, with the help of two different prefixes, *u-* and *pē-*. The syncope **wa > u* in *pēhute^{-mi}* is due to the stress-bearing status of the prefix *pē-*.

c) Hitt. *eḫu* ‘come’. This is the imperative of the verb *(u)we^{-mi}*, which is a commonly acceptable reflex of the prefix **au* combined with the root **(h₁)ei* ‘go’. The imperative form features the reversal of the root and the prefix, thus **(h₁)ei-au*. The Palaic cognate of this form, *iu* ‘come!’, does not contain an epenthetic laryngeal.

d) Hittite *sēhur* /*n*- ‘urine’. The epenthetic character of the laryngeal in this noun is supported not only but its precise morphological parallelism with *mēhur* /*n*- ‘time’, but more importantly by its Luwian cognate *dūr* /*n*-. While the disappearance of an etymological laryngeal before *u* is possible in Luwian (see below), the contraction of the resulting diphthong is not expected in this language.

The etymologies cited above have long been known, but are frequently rejected in modern scholarly literature without sufficient argumentation. As an example, one can cite the following (incorrect) sociological observation: “The theory that **mē-ur* would give *mēhur*, in which *-h-* is a hiatus-filler, has now generally been abandoned” (Alwin Kloekhorst, *Etymological Dictionary of the Hittite Inherited Lexicon* [Leiden, Brill: 2008], p. 567). The real linguistic reason behind this tendency is probably the awkward synchronic distribution of the postulated epenthesis: it appears exclusively between the vowels *e* and *u* and “run[s] entirely counter to normal Hittite treatment of secondary vowel sequences (either contraction or the insertion of glides)” (H. Craig Melchert, *Anatolian Historical Phonology* [Amsterdam: Rodopi: 1994]: 134). Therefore, in order to defend what is the most straightforward etymological solution, one has to present a phonetically natural diachronic account of the proposed sound change. Ideally, it should include two components: the scenario of how the epenthesis came about and the scenario of how it came to be restricted to a very specific phonetic environment. Both scenarios are sketched below.

The first process, in my opinion, may have had to do with the structural interference between Hittite and Luvian in prehistoric times (for which see Ilya Yakubovich, *Sociolinguistics of the Luvian language* [Leiden: Brill, 2010], pp. 161-205). In the Luvian language, as attested in cuneiform texts, the sequence /*hu*/ < **h^w*/, was unstable and could be replaced with /*u*/,

as in KBo 14.114 13 [*ma-a*] *n-na-u-wa-an-ni-in* vs. KUB 35.43 iii 15 [*ma-an-n*] *a-ḥu-u-wa-an-ni-in* ‘(part of the face)’ or KUB 35.54 iii 34 *la-a-u-na-i-mi* ‘washed (ptcp.)’ vs. KUB 35.54 iii 37 *la-ḥu-ni-i-ḥa* ‘I wash’. This optional (or colloquial?) feature was responsible for instances of hiatus in Luvian. One can hypothesize that the Luvian native speakers, when they spoke Hittite as a second language, could occasionally drop etymological /h/ before /u/. In order to distance themselves from what was perceived as the bad Luvian accent, the Hittite native speakers could hypercorrect by inserting /h/ as a hiatus-breaker specifically in a position before /u/. At this stage the epenthesis was probably optional and need not have been restricted to the instances of hiatus after /e/.

The normalization of epenthesis between /e/ and /u/ on morphemic boundary had to do with the opaque morphological structure of the relevant lexemes. The relationship between **mē-ur* /*n*- and *mē-(y)an-*, **pē-ute-* and *u-wate-*, **e-u* and (*u*)*w-e-* was no longer synchronically transparent, while *sēḥur* lacks obvious cognates within Hittite. By contrast, the Hittite sequences involving /a-u/ on morpheme boundaries are by and large transparent. The most obvious case here are 3 sg. imperative forms, e.g. Hitt. *dā-u* ‘let him take’ vs. *dā-i* ‘he takes’. The *h*-epenthesis before /u/ in such a lexeme would have increased the opacity of the verbal paradigm and therefore represented a suboptimal strategy of repairing the hiatus (as opposed to e.g. diphthongization). As for heteromorphemic sequences /i-u/ and /u-u/, *h*-epenthesis between high vowels is cross-linguistically disfavored, since more common hiatus-repair strategy in this case is glide insertion. It is quite possible that the respective sequences came to sound as /iju/ and /uwu/ in Hittite, although these glides would not be unambiguously rendered in the cuneiform writing.

Под общей редакцией *В. А. Кочергиной*

СИНХРОННОЕ И ДИАХРОННОЕ В
СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОМ ЯЗЫКОЗНАНИИ

Оригинал-макет подготовлен издательством «Добросвет»

Формат 60x88 1/16.

Объем 17 печ. л.

Тираж 500 экз.

Издательство «Добросвет».
109147, Москва, Ж-14, Марксистская ул.,
9 — 505.

«Издательство „КДУ“», 119234, Москва а/я 587.
тел./факс: (495) 939-40-51, 939-57-32.
e-mail: kdu@kdu.ru, <http://www.kdu.ru>

Отпечатано в типографии «КДУ»
тел./факс: (495) 939-40-36 e-mail: press@kdu.ru